

ЛИДИЯ НОРД

**ИЗ БЛОКНОТА
СОВЕТСКОЙ
ЖУРНАЛИСТКИ**

БУЭНОС-АЙРЕС

1 9 5 8

Лидия Норд

ИЗ БЛОКНОТА

СОВЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ

Буэнос Айрес — 1958

Lydia Nord

DEL BLOC-NOTAS

DE UNA PERIODISTA

SOVIETICA

Buenos Aires — 1958

ЛИДИЯ НОРД

**ИЗ БЛОКНОТА
СОВЕТСКОЙ
ЖУРНАЛИСТКИ**

НАША СТРАНА

БУЭНОС-АЙРЕС

1 9 5 8

”ВЕЛИКАЯ“ И ”БЕСКРОВНАЯ“

Широко праздновал последнюю русскую масленицу Петроград. В кружевной вуали снега пролетали, гремя бубенцами, тройки и сани. Сверкающей радугой переливался снеговой серпантин от «бенгальских огней», зажженных у Народного Дома, где крутились карусели и веселился, несмотря на войну, у «американских гор», народ.

Город кутил. Доставали запрещенные спиртные напитки и пили их жадно, запивая темноватые «военные» блины и какую-то смутно нарастающую на душу тревогу. И не заметили, в масленичном угаре, как за разыгравшейся не на шутку метелицей прошагал призрак с страшными провалами глаз. Встретившиеся с ним спросили с ужасом:

«Кто это?»

«Просто маскарадное пугало», — решило большинство.
«Голод», — сказали другие.

«Нет, хуже», — настаивали более прозорливые. — «Это явился антихрист за душу России».

Им не поверили. Решили, что на масленицу может приключиться любое наваждение.

А буран усиливался. И прячась в разбушевавшейся стихии, бродил по городу жуткий призрак, злобно ощупывал глазами его красоту, и порою смеялся торжествующим, нечеловеческим хохотом. Услышав его, надрывно заголосила в дымоходах вьюга, отпевая Питер, отпевая Россию...

А через несколько дней Петроград был запружен галдящей толпой. Он кипел, как и вся Россия, выбрасывая на поверхность накипь. Неизвестно откуда взявшиеся речистые субъекты, похожие повадками на мелких шулеров, сновали всюду, где скоплялся народ. Они вскарабкивались на пьедесталы памятников, ограды, тумбы и пролетки извозчиков. Их истерические голоса раздавались повсюду. Когда оратор, входя в экстаз, брал высокую ноту, лошади пряли ушами, а извозчик подмигивал толпе.

До большинства слушающих смысл витиеватых речей не доходил, но народу нравилось смотреть, как наливается кровью и брызгает слюною оратор. А еще веселей было глазеть,

когда двое, взобравшись на одну трибуну, старались перекричать друг-друга.

— Старательные! — одобрительно сказала старушка, крепко прижавшая к груди допотопный ридикуль, чтобы его не выдернули в толпе жулики. — Чем они торгуют? — обратилась она к стоящим рядом. — Я чтой-то не разберу..

— Землей, тетенька! — ответил один.

— Свободой! — откликнулся другой.

— Россией они торгуют! Россией!!! — раздался скорбный громкий голос с третьей стороны. От этого голоса вздрогнув, шарахнулась толпа. Старушка часто крестясь, оседала на ослабевшие ноги.

**
*

Стосемидесятимиллионная Русь, вынося на своих плечах все тяготы затянувшейся войны, хотя и кряхтела, но не роптала и уповала на Бога.

Оторванные войной на долгие годы от своего дома, семьи и земли, русские воины мерзли в окопах, кормили вшей и, вынашивали в себе ненависть к врагам — немцам. Чем длиннее были передышки между боями и ослабевало напряжение, тем острее ощущалась солдатами тоска по дому и яростней кипело в груди. Все это перло из души, чтобы вылиться в отчаянном бою — все смести или быть сметенным, успокоенным навек.

«Долой войну», — расчетливо брошенное революционерами в гущу истомленных войной людей, отдаляло от солдат смерть, приближало дом, родную пашню, по которой истосковались державшие винтовку руки.

Реакция на эти слова была очень сильна, но не настолько, чтобы русский солдат сразу воткнул свой штык в землю. Нося крест на шее и Бога в душе, солдат свято чтит присягу.

В то время, когда часть придворной аристократии старательно расшатывала устои трона, а политики из дворян надсаживаясь рождали революцию, народ втягивался в революцию трудно. Партийные агитаторы, всех направлений, приманивали его, и раскачивали, разъяряли, как выманивают из берлоги медведя, — выводили его из естественного покоя. Народ, особенно крестьянство, поддавался на все посулы туго, интуитивно предчувствуя, что напорется брюхом на революционную рогатину.

Но политики уже решили за него: — быть революции!
Сдвинули трехсотлетний Российский Трон. Провозгласили в Петрограде революцию. Добавили ей титулы: «великая», «народная», «бескровная». И «вся власть принадлежит Учредительному Собранию».

Незадачливые политики решали, что им делать с попавшей им в руки властью, и каждая партия хотела иметь ее для себя. А в толпу бросались один за другим зажигательные лозунги, кружащие головы пуще хмеля.

Почувствовав во рту первые зубы, «бескровная» захотела крови. И первой ее жертвой пал стоявший на посту, на Забалканском проспекте, городской Трофим Лукьянович Петров — крестьянин Пермской губернии.

**
*

Прослышали о «бескровной» в деревнях. Паголосили о Царе, потом спросили:

— А как с землицей будет?

— Пока, вот вам свобода. О земле вопрос еще не решен.

— Да нам земля нужна, а свободой вашей подавитесь сами, — ответили Новгородские, Псковские, Вологодские, Тульские и других губерний мужички. — Коль вы политику делали, почто Царя скинули, а землю всю помещикам оставили, — а почему не наоборот? Псу под хвост такая политика!..

Наступила осень, замела октябрьская пурга. Она ли выла, хохотала или тот призрак, что притаился за ней... Не донеслось сквозь нее до народа:

«Конец войне!», «Мир хижинам — война дворцам!», «Вся земля — крестьянам!», «Долой помещиков!», «Бей буржуев!», «Грабь награбленное!», «Вся власть рабочим и крестьянам!»

— Слушай! О земле говорят... Чтобы всю нам, — прислушивались мужички, да еще и власть наша будет... — и безраздумно поверив, заревел в ответ народ — «Д-а-е-шь!»

Пуще заметалась, заплакала метелица, закрывая своим покровом лужи русской крови по земле.. Знала она — быть ей десятки лет плакальщицей над миллионами сгубленных революцией русских людей и над Россией.

”МИРОВИ ПРИБЕЖИЩЕ“

В тридцатых годах большевики совершили величайшее кощунство и нанесли России незаживающую глубокую рану, снеся вместе с Воскресенскими Воротами, воздвигнутую еще при Царе Алексее Михайловиче, Иверскую Часовню, где была чудотворная Икона Иверской Божией Матери.

Задумав свое гнусное дело, Советы, чувствуя какой удар они наносят народу, особенно москвичам, так чтившим свою Святыню, сделали все это по возможности тайно. Причт часовни был предупрежден только поздно вечером, а ночью Иверскую часовню взорвали и утром москвичи могли только оплакивать ее гибель у ее развалин. В этот день плакала вся Москва. Кто открыто, кто тайно, но горько...

Долго ходили люди, как потерянные. Подходили к уже огороженному высоким досчатым забором святому месту, стояли оцепенелые от горя, как у свежей могилы.

Быстро прокатилась страшная весть по всей стране, вызывая возмущение, горе и усиливая предчувствие новых неотвратимых для народа бед. Во многих церквях священники плакали, рассказывая молящимся о неслыханном святотатстве и, не выдержав, предавали проклятую власть анафеме.

Не менее потрясающее впечатление произвело известие об этом и за границей. От него содрогнулись даже и «прогрессивные русские умы», столь много зла принесшие России.

Вот, что писал в то время известный писатель и драматург А. Амфитеатов, жаждавший когда-то революции, но вынужденный бежать после нее из России, в числе первых:

«Если Москва звалась «сердцем России», то Иверская часовня была сердцем Москвы. Великий двигатель жизненной энергии, сердце, анатомически простая, мышца, некрасивый на вид краснобурый кусочек мяса. Ничего красивого не было и в Иверской часовне: ординарная, почти бедная, устарелая постройка под звездным шатром. Тесная, как тесно жила Дева Мария в Назарете. Никаких внешних эстетических приманок. Все, как в сердце, внутри. И, так как нутро сердца есть жилище совести, то Богородица, обитавшая эту скромную храмину в представительстве Своей наи-

чтимейшей иконы, содеяла ее совестью **ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ**.

«А там мимо Иверской: как мне взглянуть-то на Нее, на Матушку? Знаешь, Лазарь, Иуда, ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем»...

Вопит-то это — кто? Самсон Большов, дикий, грубый, жестокий самодур, безжалостный тиран своей семьи, пьяный безобразник, бесчестный купец, обманщик, злостный банкрот. Ан вот, как мимо Иверской итти? Как взглянуть-то на Нее, Матушку? Совесть давно проданную за деньги, с раскаянием вспомнил под кротко-укоризненным взглядом «Чистойшей светлости солнечных», — с искренним раскаянием, ибо за продажу совести не убоился приравнять себя к христопродавцу Иуде...

Много тысяч малых, не видных миру, незамечаемо будничных чудес, ежедневно творила в ныне разрушенной храмине Своей, Она — «Ниспадших Исправление», «Милости Источник», «Мирowi Прибежище».

Тысячи чудес в веке, когда «чудес не бывает». «Не бывает» же потому, что человек, сам творя чудеса материальные, не хочет видеть чудес духовных и гордо закрывает на них глаза. По крайней мере, понуда гром не грянет. Тогда некоторые начинают креститься. Увы, всегда с опозданием.

Пробуждение совести русские люди определяют многозначительным двухсловным выражением:

— Бога вспомнил.

Иверская часовня была той «дверью покаяния», которою москвич, кто бы он ни был, — генерал-губернатор или арестант в тюрьме, многократный миллионер или кладбищенский нищий, утонченный интеллигент-эстет или неграмотный вахлак из деревни на столичных заработках, шел к возможности «вспомнить Бога» и перед Матерью Христа знаменовал свое желание помнить Его. И, когда русские Цари посещали свою древнюю столицу, они, прежде всего, прямо с вокзала ехали к Иверской — преклониться пред Пречистою и приложиться к Ея деснице. И народ это крепко любил и высоко чтил, как наглядный и всем понятный символ, что:

— Царь Бога помнит.

За все это, конечно, и ненавистна была Иверская часовня большевикам, за то и разрушена она ими, жаждавшими,

чтобы русский народ забыл о Боге и, оскотенев в тупой бессветности, утратил опасную для них тягу вспоминать о Нем. Убрали с глаз долой самое яркое, привычное, излюбленное, сердцу милое напоминание. Да не будет москвичам видно «Наставницы всех», «подающей плач благ, и покаяния вины», и «разум спасения». Ибо вот это третье — «разум спасения» — всего страшнее тиранам русского народа.

**
*

В 1926-27 г. г. в советской военной среде нашумело дело комиссара дивизии Данилова, которое старались замять, замолчать. Комиссар подал рапорт о демобилизации, а после — постригся в монахи. Не знаю, каким образом он попал в Иверскую часовню, — из любопытства, по службе ли, чтобы уличить в религиозных чувствах подчиненных, или его повлекла туда совесть... После пострижения он выступал с публичной исповедью в разных храмах и эта исповедь действовала потрясающе на народ.

Я слышала его лишь один раз и попала только к концу его страстного призыва:

— Идите же к Ней, к Святой Заступнице Иверской, — говорил бывший комиссар, — умойте, братья, перед Ней слезами своими кровь с рук ваших, с души вашей, ибо вопкет кровь, которая на нас всех к Престолу Господнему. Не бойтесь открыть ваши сердца, как бы черны они ни были, но просите о заступничестве Ее перед Господом...

И надо полагать, что не один из слушавших отца Мефодия (имя Данилова после пострижения) шел в Иверскую часовню смывать слезами перед чудотворным образом Божией Матери кровь с рук своих...

Сколько еще храмов-прибежищ для русской загнанной души, разрушили и закрыли большевики, обратив их в антирелигиозные музеи, или просто склады, дабы закрыть для народа дорогу к Богу.

Взорван в тридцатых годах Храм Христа Спасителя в Москве, воздвигнутый в благодарность за победу, дарованную в 1812 году, над французами. Разрушены церковь Успения на Покровке и храм Похвалы Богородице, которые к тому же были и архитектурными уникалами «московского барокко».

Всех разрушенных и оскверненных коммунизмом храмов в России не перечесть. Но не Божие ли чудо неуклонный рост веры в народе. Не умолила ли Божия Матерь Сына Своего не отнимать у людей «разума спасения» и не избрала ли Она Себе, вместо кощунственно разрушенных Советами храмов, другие нерукотворные храмы, которые никаким коммунистам не удастся ни взорвать, ни закрыть! — очищенные, омытые слезами раскаяния и страдания души русских людей. И не пребывает ли Она там до освобождения России, до того времени, пока народ не установит Ее Чудотворные Иконы на Их прежние места, дабы люди могли прибегнуть к «Ниспадшим Исправлению», «Милости Источнику» и «Мирови Прибежищу»...

ИСПОВЕДЬ БЕЛОБОРОДОВА

В то время, как я ломала голову, куда убежать от беспросветного редакционного однообразия, неожиданно позвонил из Детского Села писатель Вячеслав Яковлевич Шишков.

— Вы когда-то говорили, что хотите поближе ознакомиться с Детскосельскими Дворцами-музеями, — загудел в мембране его глуховатый, но сильный голос: — так вот я узнал, что теперь там проводится инвентаризация царской библиотеки Александровского Дворца. Для этого ищут лиц, знающих языки. Работа эта недолгая и внештатная. Так как вы равнодушны к книгам, то получите много удовольствия.

Долго уговаривать меня ему не пришлось. Договорившись с начальством, я на время рассталась с томительной атмосферой редакции и с душным, пыльным Ленинградом.

*

По сравнению с громадным и роскошным Екатерининским Дворцом, с бесконечными амфиладами парадных комнат и зал, сверкающих позолотой, обилием зеркал, бронзой, хрусталем, Александровский Дворец, быстроекатериной Второй для любимого внука, казался богатым комфортабельным помещичьим домом. Здесь не было драгоценной облицовки стен, мозаичных паркетов, античной мебели и других ценностей, заполняющих Большой Дворец, но здесь был жилой уют. И везде лежал отпечаток жизни и вкусов его последних владельцев.

В большом приемном зале, вместо живых, стояли искусственные фигуры арапов-лакеев в придворной ливрее, как во время больших приемов. В кабинете Государя на биллиардном столе осталась раскинутой карта военных действий, где Он отмечал ход сражений. На письменном — стопки телеграмм и бумаг, донесений с фронтов и книги, которые он читал в последние дни, уже будучи лишен свободы.

Этот, облицованный красным деревом кабинет, отделанный под корабельную каюту, соединялся лестницей-трапом, с кленовым будуаром Государыни. Здесь, как и в сирсневой гостиной, обилие семейных фотографий в пышных и скромных рамках. По ним можно проследить жизнь всей Императорской Семьи — от раннего детства до последних дней.

Фотографии Государя, Его братьев и сестер в детстве, юности и зрелых годах. Фотографии Великих Княжен и Наследника. На одной — старшие Княжны держат сзади за платье Анастасию Николаевну, чтобы она не упорхнула, рядом — с растрепанными локонами и съехавшим на сторону кружевным воротничком — Мария Николаевна. Она еще не успела сменить шаловливое выражение лица на серьезное, как у сестер.

Государь с детьми в парке. У Татьяны Николаевны слегка обиженный вид, у младших Великих Княжен и у Наследника, которого Государь держит на руках, — веселый и разгоряченный. На шапочке, шубке Татьяны Николаевны и на шинели Государя заметны следы снежков. В рукавчиках улыбающегося Наследника зажат снежный комочек. Государь — с книгой в руках. Государыня — с рукодельем, и разместившиеся возле Них на огромной оттоманке Дети.

На домашних снимках Императрица выглядит и красивей и моложе, чем на других портретах, особенно на тех, где фотографирующему удалось схватить ее редкую, оживленную улыбку, поразительно меняющую лицо.

В Императорской спальне масса икон всех размеров, от больших старинных, в осыпанных драгоценными камнями ризах, до маленьких скромных в серебре, даже фольге или эмалевых образков привезенных с богомолья. Ими сплошным ковром покрыты стены спальни, над кроватями и по бокам. На стенах, у дверей, через которые входят и выходят посетители, уже заметны пустые места. Небольшие образки исчезают часто. Их воруют посещающие дворцы, как святые реликвии. Дирекция распорядилась прикрепить образа к стене четырьмя гвоздями, но и это не помогло: во время вечерних контрольных осмотров, порой обнаруживается или кража иконок, или попытки к ней, судя по расшатанным, наполовину вытасенным гвоздям.

В приемной Государыни, наискось от Ея большого, написанного маслом портрета в парадном туалете, висит портрет-гобелен Марии-Антуанеты с детьми. Его подарил Императрице французский президент, как образец французского производства гобеленов.

Об этом изумительно выполненном портрете существуют легенды: первая, что мастерица, вышивавшая голубое платье королевы, уколола глубоко иглой палец и кровь так ис-

портила платье, что пришлось нашить второе — красными нитками.

Вторая легенда, что Государыня чувствовала непреодолимый страх от этого портрета.

— Когда я вижу его, никак не могу избавиться от мысли, что и меня ждет такая же смерть, — говорила она своей сестре и А. А. Вырубовой. Но снять портрет, или перенести его в другую комнату, отказывалась.

Предчувствие не обмануло Ее. Она также, как и французская королева, погибла от рук палачей.

И нужно отметить величайшую бестактность президента французской республики, Пуанкаре, преподнесшего русской Императрице портрет французской королевы, казненной революцией..

Библиотека помещалась в одной из самых больших комнат. Все стены и простенки ее были заняты высокими, красного дерева, книжными шкафами. На них — фигуры всадников и пеших военных, в разнообразных формах с штандартами — подарки Императору от шефских полков.

Часть книг находилась в невысоких, соприкадавшихся спинками шкафами, симметрично расположенных по библиотеке. Середина ее отгорожена с двух сторон протянутыми от дверей к дверям шнурами, за которые не разрешается заходить посетителям. В этом пространстве паркет покрыт ковром-дорожкой, чтобы предохранить его от порчи.

Во всех шкафах, согласно инвентарным спискам, восемнадцать тысяч томов. Открываю дверцы первого небольшого шкафа, который нужно проверить. В нем массивные тома Свода Законов Российской Империи. Многие странички испещрены пометками. Пометки, сделанные рукой Императоров, часто встречались и в других книгах, особенно военных и исторических.

У меня буквально тряслись руки, когда я прикасалась к сокровищам литературы, находившимися в недрах шкафов. Не имея времени для чтения, я упивалась гравюрами, жадно глотала отрывки и... забывала обо всем. На счастье меня никто не подгонял. Злоупотребляя этим, я растягивала работу, елико могла.

Когда к вечеру спадал непрерывный поток экскурсий и посетителей, которых также водили группами, и уходили усталые, отупевшие от собственных стандартных фраз, экскурсоводы, по дворцовым покоем бесшумно, как призрак, ходил худой чуть сгорбленный годами старик.

Беззвучно шевеля губами, он переходил из одной комнаты в другую, осматривал все вокруг, смахивал со столов пылинки, переставлял фотографии, взбивал несмятые подушки диванов, поправлял шторы.

Сталкиваясь со мною, он молча уступал дорогу, недоверчиво буравя меня взглядом из-под нависших бровей. В отражении зеркал я видела, что он оглядывался, провожая меня глазами и неодобрительно покачивая головой.

Однажды я застала его в Императорской спальне. Стоя на коленях, прижав руки к груди, он молился. По бороздкам морщин текли слезы и падали на ковер.. О ком так горячо молил Бога этот молчаливый странный старик?

О себе, или о тех, кто ушли из этой спальни в ссылку... на казнь?..

Стараясь остаться незамеченной, я тихо вышла.

Постепенно я стала замечать его молчаливое преследование. Не таясь, он ходил за мной по пятам, или выросал передо мной, как из-под земли. И когда я притрагивалась к какой-нибудь вещи, он смотрел так, как будто хотел вырвать ее из моих рук.

Узнав его историю я перестала удивляться. Агафонович прослужил во дворце пятьдесят с лишком лет. Когда Императорскую Семью увезли, старый слуга не ушел, а добровольно остался сторожить дворец, и буквально зубами отстаивал каждую мелочь от увоза и хищений. Когда дворец стал музеем, его оставили «консультантом», ибо он знал каждый закоулок. Вне стен дворца его ничего не интересовало и не трогало. Вечерами, «наводя порядок», он воскрешал прошлое и им он жил.

Просматривая один из альбомов, я заметила, что он стоит рядом. Несколько минут он с нарастающим беспокойством следил за мной. Потом губы зашевелились быстро и, наконец, я впервые услышала его хриловатый, надтреснутый голос:

— Что их опять хотят сжигать? ...

— Не думаю, — ответила я. — Ведь это большая историческая память...

Брови старика приподнялись. Я увидела синеватые, еще не потерявшие цвета и блеска глаза. Отклонив чуть на сторону голову, он смотрел на меня пытливо, но без прежней враждебности.

— Ценность, ну, смотря для кого! Им разве жалко? — Он кивнул головой в сторону окон, как бы показывая, что за ними враждебный мир, и с горечью добавил: — сколько они уже уничтожили, распродали. В Детских комнатах осталась еще часть мебели, не знаю, что будет дальше. Как я ни просилу, не помогло. Они говорят: «для нас не представляет исторической ценности».

Постепенно оттаивая, он делался щедрей на слова. Видно было, что душевный груз давит его, а случай высказаться представляется редко..



На следующий вечер мы бродили с ним по пустому дворцу вдвоем и в согласии. В его рассказах передо мною проходила прежняя жизнь, в мельчайших подробностях. Память на прошлое у Агафоновича была поразительная. Он помнил наперечет, кто когда приезжал во дворец, кто когда и на ком из Царской Фамилии женился. Когда у Детей резались зубы и чем Дети болели, и т.д.

— Вот на этом кресле еще Его Императорское Величество Государь Александр III сидеть любили, когда приезжали. Видите пружинка чуть продавлена. Покойный Государь грузный был.

Слушать Агафоновича было интересно. Обладая природным умом и наблюдательностью, он умел разбираться в событиях и людях. Когда я его спросила о Распутине, старик ответил:

— Черная сила крутила его и он ею других крутил. Злые люди этим пользовались. Ума и святости у него не было, а Государя и Государыню и Деток он душевно любил, да не к добру это было...

Было заметно, что из Великих Княжен он выделял Ольгу Николаевну и, особенно, Марию Николаевну. Был твердо уверен, что последняя, как и Наследник, живы.

— Не может быть, чтобы погибли все! Государя и Государыню, может, правда убили, да поотсохнут у них, палачей. руки. Ольга Николаевна отца очень любила, ни на шаг от него последние дни не отходила. Она, может, с родителями сама на смерть осталась, а остальных спасли, бежали они за границу.

— Боюсь, что им не удалось спастись, — возразила я, — хотя ходили слухи, что Анастасия Николаевна в Америке...

— И Мария Николаевна, — упрямо перебивал он. — Власти от нас это скрывают. А сердце мое чувствует, что живы они...

Не желая причинять Агафоновичу ненужной боли, я соглашалась.. Ведь он только и жил затаенно: надеждой встретиться когда-нибудь с теми, кому было отдано навсегда его преданное сердце.

Незадолго до конца инвентаризации, Агафонович заглянул в рабочее время в комнату, где я сверяла инвентарные книги. Увидя там посторонних, старик сразу скрылся. Я только успела заметить его не то расстроенное, не то злое лицо.



Вечером обошла все комнаты, не встретив его. Меня охватила смутная тревога, что произошло что-то недоброе. Последнее место, где он мог еще быть — домашняя церковь. Я направилась туда.

Под домашнюю церковь был передан небольшой зал. Говорят, что здесь же, после смерти жены, тайно обвенчался Император Александр Второй с княжной Долгорукой.

Сбоку за ширмами, стоят кресла Государя и Государыни, которая любила уединяться для молитвы. Я зашла за ширмы. Напротив кресел висел образ Божией Матери, резко отличавшийся по письму от других икон. Он всегда притягивал меня. Отступив от обычной манеры, иконописец изобразил Деву Марию небесной и земной одновременно. Только рука большого мастера могла написать это неповторимо прекрасное лицо. Во взгляде, обращенном на Младенца Христа, нежность, смешанная с тревогой, как будто предчувствие Голгофы.

Чьи-то шаги оторвали меня от дум. Не видя вошедшего, я слышала, что он остановился неподалеку. Оставаться за ширмами было неудобно. Я вышла. Одновременно раздался дикий вопль. Какой-то мужчина рухнул на колени, спрятав лицо в руки. Пригнувшись к ступеням алтаря, он продолжал истошно кричать. На крики прибежали научный сотрудник музея и сторожа. На момент в дверях показался и Агафонович. Он насмешливо-злобно поглядел на кричащего. Брови старика плясали, лицо кривилось, как бы гримасничая. Не прошло и нескольких секунд, как он снова исчез.

Когда мужчину поднимали под руки, он, не открывая зажмуренных век, бормотал:

— Она ! . . . Она ! . . . Я видел ее . . .

Открыв, наконец, глаза, он взглянул в мою сторону. На лице его появился такой страх, что он невольно передался и мне. Подавшись назад я ощутила на спине мурашки.

— Вы видите ее?! — снова крикнул он. — Это она! Романова !!!

— Кто Романова ? . . . — Изумленно переспросил научный сотрудник. — Что вы, товарищ Белобородов! Это наша сотрудница . . . — и подойдя к двери он повернул выключатель. Яркий свет залил церковь, прогнав сумерки.

При имени цареубийцы, я почувствовала, что кровь, отхлынув от сердца, оставила его ледяным.

Мы смотрели друг на друга с разными чувствами, но не могли отвести взгляда. Глаза Белобородова еще были белыми и расширенными от страха. Он молчал, но его сотрясала дрожь.

Теперь мне было понятно, что в сумерках из-за моей длинной белой шали и мягких белых туфель, которые я надевала во дворце, чтобы не портить паркет, он принял меня за привидение. ,

По пути к дворцовой канцелярии Белобородов оглядывался по сторонам назад и просил, чтобы зажигали свет. Идя последней, я гасила его. Случайно оглянувшись я увидела, что Агафонович следует в отдалении за нами. Остановилась, дожидая его, но он, заметив это, исчез. Поняв, что творится в его честной душе, я пошла за остальными. Мне теперь стало ясно, что Агафонович прибегал днем ко мне сообщить

о приезде Белобородова, то-то глаза старика сверкали, как у разъяренного зверя.

Упав в кресло, Белобородов попросил пить, но, сделав глоток воды, поставил стакан на стол. Сообразив, что вода не напиток для чекистов, научный сотрудник послал сторожа за водкой. Тот быстро вернулся с литровой бутылкой. Одобрительно кивнув головой, Белобородов выплеснул воду за окно и налил стакан до краев. Выпив его он провел рукой по лицу, как будто что-то сгонял с него.

Я смотрела на его съежившуюся с втянутой в плечи головой фигуру, на незначительное, жалкое теперь лицо и мне просто не верилось, что этот человек мог выносить приговор Царской Семье и позже возглавлять наркомат.



Повидимому сам Белобородов сознавал, как он жалок и прилагал все усилия справиться с собой. Но это не удавалось ему. При малейшем треске или шорохе он вздрагивал.

Обегая нас взглядом, неверной рукой наливал водку и, расплескивая ее на ковер, пил жадно, как воду.

Постепенно лицо его стало принимать нормальный оттенок и он перестал дергать плечами как в ознобе. Взглянув исподлобья на научного сотрудника и меня, смущенно усмехнулся и сказал:

— Нечего сказать, наделал я переполоха . . .

Расчет на то, что он скоро уйдет не оправдался. Может, чтобы сгладить впечатление о происшедшем, Белобородов задержал и меня и Р. Втягивая нас в разговор, заставил выпить водки и, угостив сторожа, послал еще за литром.

— Только это и помогает, — кивнул он головой на принесенную водку. — Нервы окончательно сдали. Чем дальше, тем хуже. Лечился у аллопатов и у гомеопатов. Гипноз тоже не подействовал. Дошел до галлюцинаций. Жена гонит меня из спальни, бужу ее криками и пугаю.

— Давно это у вас? — из вежливости спросила я.

— О да, с гражданской войны. Ведь столько пережить пришлось... Один расстрел их чего стоил!

Взглянув на нас и, может быть, прочитав что-то на наших лицах, он вдруг пришел в возбуждение.

— Знаю, что вы думаете! — крикнул он, ударив кулаком по ручке кресла. — Белобородов — зверь расстрелял не только Царя, но и детей. Мне это не раз в лицо говорили. Теперь у всех ручки чистые, только у меня в крови, — и он снова задержал плечами и головой.

— Скажите, товарищ Белобородов, — прервал неловкое молчание Р. — Одно время ходили слухи, что части Семьи удалось бежать?

— Это неправда, — глухо, не поднимая головы, ответил тот. — Расстреляны все. И лейб-медик Боткин, фрейлина Демидова, и монашка, и поваренок, которые прислуживали Семье. Их пришлось ликвидировать, как лишних свидетелей... Если вам интересно, я мог бы рассказать, почему и как это произошло.

*

«В то время, мы не могли поступить иначе, — начал он свой жуткий рассказ. — Ссылка Царской Семьи и Великих Князей в Екатеринбург была для нас равносильна удару обуха по голове. Вы знаете, какое тогда было время. Мы боролись тогда с контрреволюцией, наступавшей со всех сторон. Не забудьте, что кроме крепкого пролетариата — уральских рабочих — было в Екатеринбурге и купечество, и духовенство, и дворянство, и фабриканты, и прочие элементы, мечтавшие о реставрации трона. Мы не успевали расправляться с ними. А с приездом Романова с Семьей и Великих Князей, мы буквально лишились и покоя и сна.

После некоторых запросов в Центре (мы просили перевести Царя и Его Семью в другое место и инструкций, что делать с Ними в критический для нас момент), не давших никаких результатов, я настоял, чтобы Голощеков поехал сам за инструкциями.

Вернувшись, Голощеков привез от Свердлова устное распоряжение.

Романовы должны оставаться в Екатеринбурге под усиленной охраной. Перевоз их в другое место несвоевременен, а выпуск их за границу — совершенно исключен. Это было бы угрозой революции, так как реакционеры не замедлят угрожать Царя, или кого другого из Семьи возглавить контрреволюционное наступление. «Есть также угроза, — сказал

Свердлов, — что пользуясь неосознанностью народа и его симпатиями к Алексею, Его вопреки отречению, могут объявить Царем, и это даст им крупный шанс на успех. В силу этого режим Романовых должен быть такой, который сделает все попытки к их освобождению невозможными. А в критический момент они все должны тайно и бесследно исчезнуть».

Слово «исчезнуть», Голощенок пояснил: «быть ликвидированными».

Это устное, совпадавшее с местными мнениями, распоряжение, не уменьшало нашей ответственности, а увеличивало ее.

Мы перевели всех находящихся в Ипатьевском доме на самый строгий режим. Запретили им посещать церковь и даже те, кто прислуживал им, были изолированы от внешнего мира. Приходилось часто менять состав охраны, ибо до нас дошли сведения, что часть караулящих красногвардейцев, попав под обаяние Романовской Семьи, стала оказывать им тайные услуги и самовольно смягчать режим.

У монашки, приносившей арестованным молоко и другие продукты, была найдена записка, написанная рукой Александры Феодоровны: «Благодарим от всего сердца, но не хотим жертв и крови. Полагаемся на Волю и Милость Всевышнего».

Узнать, кому была адресована записка нам не удалось. Содержание нас тоже не успокоило. Романовых могли освободить и помимо их воли. Одновременно поступило донесение о приезде в Екатеринбург группы переодетых в штатское офицеров. Мы их ликвидировали, как и тех, кто их скрывал.

Обстановка менялась не в нашу пользу. Угроза городу со стороны чехов требовала принятия определенного решения. Я снова стал запрашивать Центр и, наконец, получил от Свердлова ответ: «Действуйте по своему усмотрению».

Сопоставив его с данными Голощенкову устными указаниями, я поставил в тот же день на экстренном заседании екатеринбургского Совета вопрос о необходимости расстрела Романовых и их Семьи. Все согласились. Составленный тут же приговор был утвержден и подписан.

Ликвидация Великих Князей, находившихся в Алапаевске, была возложена на Войкова. Ответственность за выпол-

нение приговора над Николаем Вторым и Его Семей падала на меня и на Юровского».

*

Налив трясущейся рукой стакан водки, Белобородов выпил ее и продолжал:

«Готовясь к расстрелу, который должен был произойти к ночи, мы достали одеяла, чтобы завернуть в них тела расстрелянных и, незаметно для часовых, перенести их в машины. Трупы мы решили бросить в старую шахту, называвшуюся Гаиненой ямой.

Не доверяя никому, решили сократить число участников расстрела до семи, чтобы избежать лишних свидетелей. В этот вечер все часовые были сняты в доме и убраны посты со двора. Оставили лишь караул за забором на улице.

Когда Романовым предложили, под предлогом опасности от артиллерийского обстрела спуститься в подвал, они начали спокойно собираться и разместились на принесенных туда стульях.

Тут выяснилось, что в плане расстрела мы не учли мелкой, но досадной детали: подвал был освещен маленькой, тускло светившей от слабого накала лампочкой. И она висела как раз над стульями, на которых сидели приговоренные. Менять ее было некогда, да мы еще боялись, что яркий свет, пробиваясь через щели ставень окна, привлечет любопытство часового.

Юровский выскочил на двор, чтобы посмотреть, не пришел ли туда кто-нибудь из караула и приказал завести моторы грузовиков, выхлопами которых хотели заглушить стрельбу. Когда он вернулся, посоветовавшись, решили огласить приговор с верхней площадки лестницы и попросили Романовых подойти к нам поближе.

Царь с Сыном подошли первыми и остановились на верхней ступени, ведшей в подвал лестницы. Опершись о перила, ступенькой ниже, стояла Императрица. За спиной Романовых, стоял доктор Боткин, за ним, возле матери, Ольга и Татьяна. Остальные разместились у входа в подвал.

Романов слушал приговор спокойно, как будто не вполне понимая его значение, потом спросил:

«Так меня судит Россия?»

— Вас судим мы, революционный народ, — ответил Юровский, и чтение приговора продолжалось. Когда дошли до слов: «Вместе с бывшим Царем Николаем Александровичем Романовым расстрелу подлежат его Жена Александра Федоровна Романова, его сын Алексей...», Царица, вскрикнув, бросилась к Наследнику и прижалась к нему. За ней выскочил Боткин и заслонил их собой.. Тогда Юровский начал стрелять (ему, как позже он сознался, показалось, что Царица и Боткин, оттолкнув его, выскочат через черную, находившуюся на площадке, дверь во двор).

Первые пули попали в Боткина и Царя, они зашатались и стали падать, увлекая за собою Александру Федоровну, не выпускавшую Наследника.

Тогда стали стрелять все... Стреляли по упавшим и тем, кто стоял. Получился ужас. Ольга, раненая, пыталась выбраться из под упавших на нее. Цепляясь за них, дотянулась до Отца. Охватила Его, живого или мертвого, не знаю, но ее так и добили. Вместе с Наследником, тоже раненым, застрелили, не отпускаящую его Царицу. Татьяна была буквально изрешетена пулями. Но если та, которая попала ей в лоб, была первая, то смерть ее была легкой.

Перебравшись через лежащие на ступеньках тела, добили в подвале остальных. Младшие дочери, которых прикрывали собой Демидова и монашка, сопротивлялись. Пришлось повозиться и с поваренком.

Когда несли в машину завернутую в одеяло Марию Николаевну, она оказалась еще живой и стонала. Ее положили под другие тела, так как стрелять во дворе было нельзя: часовые за забором, заглядывая в щелочку, спрашивали, что была за стрельба и крик. «Все в порядке», — ответил Юровский. — Я пробовал в подвале свой новый маузер и напугал дочерей Романова». Когда привезли тела на шахту, все были уже мертвые».

*

Тяжелый стон явственно пронесся за дверьми. Белобородов, позеленев, упал в кресло. Сознаюсь, оцепенела и я. Р., подойдя к двери, распахнул ее и выглянул наружу, потом знаком подозвал меня. Уткнувшись головой в стену, Агафонович оседал на подкосившихся ногах.

— Дверь была неплотно прикрыта, — шепнул Р., когда мы усаживали бедного старика на стул. Успокоив Белобородова, Р. принес Агафоновичу водки. Старик с омерзением отмахнулся от нее, но мы уговорили его сделать несколько глотков, пообещав не гнать его и оставить дверь неприкрытой.

Не поверив нам, что одному из дворцовых сторожей стало дурно, Белобородов с опаской сам выглянул за дверь. Оглядев сидящего с поникшей головой Агафоновича, он вернулся на свое место и, «подкрепив нервы», продолжал.

— В начале предполагали бросить трупы в шахту и засыпать их, но Голощенок настаивал, чтобы их сделать неузнаваемыми: «Если их найдут, то народ сделает из них святыню»...

Обыскав расстрелянных, мы нашли в лифах, корсетах и платьях Царицы и Дочерей, много зашитых драгоценностей. У Романова, кроме нательного креста (на цепочку которого были надеты медальон и перстень), запонки и часов, никаких драгоценностей не обнаружили.

Чтобы ускорить процесс сжигания трупов, Юровский поехал на одной из машин в Екатеринбург за серной кислотой. Привез несколько баллонов и топоры, которыми рубили тела на части. Как мы ни торопились, а на уничтожение затратили почти сутки. Юровский снова уехал «навести порядок в Ипатьевском доме». А мы, окончив сжигание, бросили изуродованные тела в шахту и кинули несколько гранат. На месте, где погорела от костра и кислоты трава, настлали свежие пласты дерна и уходя, расправляли палками примятую ногами траву. Следы были так хорошо заметены, что мы никогда не думали, что их найдут. И не нашли бы..., если бы нашу машину, которая ездил за кислотой, не увидели на переезде будочники и по пути, недалеко от шахты, ехавшие в город крестьяне. В особняке Ипатьева все следы расстрела были на лестнице уничтожены, попорченная попадавшими пулями стенка заделана и покрашена в прежний цвет. Никто этого не заметил, так как мы нарочно кое-где поцарапали ее. Следы в подвале уничтожить не смогли из-за нехватки времени, и не хотели пускать к тому же туда маляров. Те сразу бы догадались о расстреле и разнесли бы слух по городу, как это случилось позже, когда нас там уже не было...

Опустив голову и хрустя суставами пальцев, Белобородов помолчал, задумавшись. Молчали и мы, потрясенные до глубины души всем слышанным.

— Через несколько времени, — тихо, как будто сам с собой, снова заговорил он, — я усталый, не спавший несколько суток, свалился, как бревно на диван, чтобы поспать немного. Не могу сказать, закрыл я глаза или еще не успел, когда вдруг почувствовал, что на меня капает что то теплое, и я увидел на себе.. кровь.. И даже почувствовал и клейкость, и запах... Затем раздался женский крик. Это был.. голос Александры Федоровны.. Так она вскрикнула при мне, когда Сын, склонившись через перила лестницы, скользнул и упал бы вниз, если бы Его не ухватили одна из сестер и красноармеец, и так же крикнула Она.. в ту ночь... Вскочив, я продолжал видеть кровь.. Потом все исчезло, но я был весь в холодном поту, как будто только вылез из реки. Долго не мог придти в себя и понять, был ли это сон, или явь? Потом убедил себя, что сон.

Прошло несколько недель или месяцев, сон этот повторился, и опять так реально, как будто бы я не спал. С тех пор я стал бояться спать один.

Сначала смеялся сам над собой, институтка я что ли? А приходила ночь, становилось не по себе.

И знаете, — он поднял на нас полные муки глаза, — это не перестает мучить меня и теперь... Очень часто я слышу ее крик и чувствую кровь... Только, когда напьюсь, сплю хорошо, но теперь и водка не берет меня..

— Почему до сих пор так мало освещали эти события? — осторожно спросил Р.

Белобородов, пожав плечами, ответил:

— О них писал Быков. Его книга была издана небольшим тиражом свердловским издательством, но больше не переиздавалась. Если вы не читали ее, могу вам прислать, у меня она есть. Пробовал писать и я обо всем подробно, как рассказывал вам, пока еще не совсем закончил.

— Это очень интересно и ценно для истории, — воскликнул Р.

— Мало, что интересно и ценно! — усмехнулся Белобородов. — Но не все интересное и ценное можно публиковать

теперь... Я остался в этой истории, как Макар, на которого валят шишки. Но ведь были и другие. Повыше меня... Один ли Белобородов ответствен за все это?

— А вы не могли избежать... Перепоручить комунибудь? — неосторожно вмешалась я. Глаза Белобородова сверкнули злостью.

— Наивный вопрос. Смерть Романова нужна была революции, а я был ее слугой. На мне лежала вся ответственность, как перед Центром, так и перед Екатеринбургским областным совдепом, председателем которого я стал.

Николай Романов был не простой смертный, а бывший Император всей Руси. Кому я мог перепоручить такое ответственное и важное дело? Тогда, мы, руководители, не ходили еще в белых перчатках, а делали черную работу сами...



Была уже ночь, когда мы покинули Александровский дворец. Белобородов умчался на автомобиле, мы шли пешком, поддерживая под руки окончательно сломленного горем Агафоновича.

Через три дня он умер. Врачи констатировали разрыв сердца. Мы знали, что Агафонович не пил и не ел эти дни, ни с кем не разговаривал и только молился, приготовлялся отдать Богу свою честную душу, болше уже ненужную здесь на земле.

Прошло около двух месяцев и я получила по почте пакет. В нем была книга Н. Быкова и рукопись — воспоминания Белобородова. В сопроводительном письме он просил меня, прочитав его записки, сохранить их, не предавая гласности.

Белобородов подтверждал, что убийство произошло на лестнице, пополнял общую картину характеристиками (порой очень нелестными) других лиц, причастных к событиям.

Еще через полгода пришло второе письмо, написанное, повидимому, Белобородовым в очень нетрезвом состоянии. Из этого бредового послания, я могла лишь понять, что его снова преследуют кошмары и призраки, что он собирается продолжить свои записки и пришел к мысли, что ему лучше самому повеситься, а не ожидать какого-то нового назначения.

В течение последующих лет больше писем не было. Продолжения воспоминаний я тоже не получила, и вообще позабыла о нем. Вспомнила лишь в разговоре с одним известным

профессором, лечившим его и подозревавшим, что он стал тайным морфинистом.

Прошло еще несколько лет, и возмездие не обошло Белобородова. После долгого пребывания в ростовских и московских тюрьмах, он был ликвидирован, как «враг народа».

ПРИМЕЧАНИЯ

После того, как «Исповедь Белобородова» была опубликована в Русской Мысли», редакция «Р. М.» получила несколько писем от читателей.

Все, что проливает свет, помогает восстановить полную картину этого злодеяния — очень ценно. И я приношу глубокую благодарность пркславшим их.

Так как эти письма несомненно интересны всем нашим читателям, то я ниже привожу тексты их, полностью:

«Я с большим интересом и вниманием прочел в издаваемой Вами газете, рассказ г-жи Л. Норд о ея встрече с палачем Белобородовым, — пишет господин В. Р. — Теперь мне нужно сообщить Вам, в дополнение, нижеследующее: брат (двоюродный) моей первой жены, Ян Янсен, тоже, к позору своей семьи, участвовал в расстреле Царской Семьи. Приехав однажды к нам в гости, он сообщил все эти ужасные подробности о бесчеловечном убийстве на лестнице. И когда он рассказывал о получившейся, вследствие этого, кровавой каше — у нас шевелились от ужаса на голове волосы.

Я помню Ян говорил, что ту Великую Княжну, которая начала завернутая в одеяло, стонать, когда ее несли к машине, они задушили руками. А Белобородов этого не рассказал.

Потом он умолчал и о собаче, которая в подвале защищала Великих Княжен — кусалась. Ее так же зверски убили, как и всех. ,

Еще Ян говорил, что после расстрела, обнаружили подкоп под дом и, если бы прошло еще несколько дней, то Царь с Семей мог бы убежать.

Все это он рассказал нам, после того, как мы все дали клятву о молчании. Поэтому я до сих пор молчал. Теперь все равно об этом все узнали. Где Ян, — я не знаю, так как жена моя умерла еще в 1926 году и я вскоре сам уехал из Советской России».

*

Автор второго письма — господин С. Данилин пишет следующее:

«По затронутой теме мне хочется сообщить Вам для печати некоторые данные о судьбе другого участника зверского убийства Царской Семьи.

В конце 1936 года я находился в больнице в Тифлисе, где должен был подвергнуться серьезной операции. Лежал я в стахановской палате. Эта двухместная палата, со всеми удобствами, была на особом положении, в отношении заботы и внимания со стороны всего медицинского персонала, ибо больные, которые попадали в эту палату, занимали высокие посты или имели большие связи.

Пролежал я там более полутора месяцев. За это время много высокопоставленных советских лиц перебивало в этой палате. После того, как был выписан брат крупного дипломата (союзного масштаба), пришел новый больной, направленный сюда для исследования почек и это был один из руководителей Грузинского НКВД — Гончаренко.

Оказался он разговорчивым соседом. Пробыл всего три дня (выяснилось, что вполне здоров), но за это время, особенно по ночам, мы о многом беседовали.

В одну из бесед, он рассказал мне об убийце Царской Семьи, который жил около Батума. Советское правительство дало ему дом с мандариновым садом. Кроме того, он получал пенсию и всякую помощь от государства. Вместе с ним жила его жена, которая смотрела за ним, ибо он был не вполне нормальным.

Гончаренко называл мне его фамилию, но я позабыл ее. Мне было известно еще в Советском Союзе, что Белобородов является убийцей Царя, но это был не он, а кто-то другой из участников преступления. Белобородов в то время занимал должность Уполномоченного Совета Народных Комиссаров СССР по Ростовской области и жил в Ростове на Дону, где его впоследствии и арестовали для ликвидации.

Был ли это Юровский? Но, если не он, то кто-то из непосредственных исполнителей злодейского убийства.

*

В третьем письме господин Д. Новиков также рассказывает нам интересные подробности:

«Мне хочется написать Вам о моем знакомстве с одним из царубийц — Медведем. Он хорошо знал, как Белобородова, так и всю предшествовавшую убийству обстановку.

На него это преступление тоже произвело неизгладимое впечатление, кроме того, что он в ночь убийства, молодым, пошел. Медведь также много пил, и, когда у нас с ним заходил разговор о расстреле Государя и Семьи, — он откровенно признавался, что участие в этом преступлении очень гнетет его.

По словам Медведя, главная вина в этом злодейском убийстве лежит на председателе Екатеринбургского Совета — Белобородове. Медведь характеризовал его, как большого карьериста и труса, теми же качествами отличался и Голощенок.

Медведь утверждал, что на заседании Совета, на котором был вынесен смертный приговор Царю, между заседающими не было единогласия и многие возражали против расстрела Его, а особенно Семьи — они считали, что всех надо немедленно эвакуировать. Но Белобородов настаивал на расстреле. «Я думаю сейчас, — сказал мне Медведь, — что Белобородов тогда боялся пропустить случай войти в историю, хотя бы палачем. Но вместе с тем, он старался увильнуть от непосредственного участия в расстреле. Приехал в Ипатьевский дом тогда, когда по его расчетам все должно было быть кончено, а попал в самый жуткий момент...

Когда я наблюдал за Медведем мне казалось, что совесть его мучила больше, чем он говорил. Он тоже не раз ездил во дворцы и говорил, что посещая их он испытывает странное двойное чувство — они его тянули и пугали одновременно, особенно Александровский. Да, я понимал, что ему было очень тяжело жить с таким незамолимым грехом на душе, как и всем другим убившим не только Царя и Царицу, но и Детей, не говоря о Их приближенных.»

.....

Характерно, что у всех инициаторов и исполнителей бесчеловечного убийства была и есть общая черта — желание свалить всю ответственность за преступление на других и обелить себя.

Белобородов сваливал вину на Центр и, в частности, на Свердловца, а также на Голощенко, который «изводил своими опасениями, что ответственность за похищение Романовых, — его просто преследовала эта мысль, — ляжет всецело на наши головы», — писал он в «Записках».

Медведь же уличает его в том, что он больше всех настаивал на расстреле.

Трусость и подлость всегда неразлучны.

Но никакие самовыгораживания не спасали палачей ни от народного презрения, ни от суда Божьего.

Не говоря о честнейшем слое русского народа — крестьянстве и простонародии, — который годами открыто оплакивал гибель Императора и Его Семьи и о части интеллигенции, делавшей это тайно, но и в партийной среде избегали вспоминать о Екатеринбургском злодеянии.

В начале тридцатых годов я приехала в Екатеринбург. Один из партийных «хозяев» города показывал мне его достопримечательности.

— Вы хотите осмотреть весь Ипатьевский дом? — спросил он, но очевидно прочитав что-то на моем лице, сразу добавил: — Хотя, не стоит, — это — тяжелое место.

В то время, многие, особенно старики и простые женщины, проходя мимо этого особняка, украдкой или открыто, крестились. В одной семье хранились, а, может, хранятся и поныне, куски содраной штукатурки со следами крови, они достали ее от знакомого маляра, ремонтировавшего подвал Ипатьевского дома и берегут, как святыню.

Явного или тайного презрения народа убийцы не могли не чувствовать.

Но, кроме этого, они были мучимы ужасом свершенного ими. Шли года... Десятилетия... Но картина страшной ночи не тускнела, а становилась все страшней. Эта адская мука, при жизни была карой Божьей.

Есть ведь все основания думать, что и живший под Батумом царевый был терзаем теми же видениями, что и Белобородов.

Признался и Медведь, что дворцы «одновременно и притягивают и страшат» его. Несомненно, что они воскрешали в его памяти ту страшную ночь, усугубляли его муки, но сила, тянувшая его туда, была сильнее воли преступника.

Кровь Императора и всей Семьи, залившая страницы русской истории, пала и на всех нас. Разве не являются страшное рабство в России, или жизнь в эмиграции, вдали от Родины, — наказанием Божиим за Их смерть.

ПРИНЦ-КОММУНИСТ

Сестрорецкий сезон был в самом разгаре. НЭП отживал свои отсчитанные властью годы. Как будто предчувствуя грядущие беды, люди старались жить торопливо и жадно.

В летнем ресторане гремели тарелки, хлопали пробки. Суетились между столиков лакеи, пряча на ходу в карманы щедрые чаевые. Струнный оркестр сливался с негромкой песней моря. Легкий ветерок смешивая ароматы цветов с запахом духов, угонял их и приносил свежий солоноватый морской воздух.

В отличие от крымских курортов, в Сестрорецке публика не стремилась сбрасывать с тела всех покровов, а старалась показать умение одеваться. Поражала роскошью своих туалетов «царица сезона» Розенель, менявшая их не менее пяти раз в день. Провожая глазами жену Луначарского, один из артистов Александринского театра сказал: —

Дает он публике «лохмотья»,
А «бархат», только Розенель*).

За Розенель ходила толпа поклонников, но она значительно поредела, с появлением на курорте восходящей звезды советского экрана Ольги Железновой.

Жены крупных нэпманов щеголяли драгоценностями, которыми некоторые из них украшали себя с утра, и старательно подражали артисткам. В дни пребывания в Сестрорецке непревзойденного Арбенина-Юрьева начался «дамский психоз» с такими сценами «ревности», что тот поспешил уехать. По воскресеньям Сестрорецк переполнялся до предела приезжими, вырвавшимися хоть на денек из душного и пыльного города к морю.

*

Было уже за полдень и пляж опустел.

По берегу бродил задумавшись К. С. Станиславский, не замечая семенящего то позади, то сбоку вспотевшего толстяка, старающегося привлечь его внимание.

Запахавшись, собирали свои рассыпавшиеся по пляжу потомства, родители многодетных семейств, торопясь уехать до общего разъезда.

* Пьеса Луначарского — «Бархат и Лохмотья»

У самой воды стояла златоволосая девушка в белом платье. Она смотрела вдаль, где вырисовывались очертания финских городов. Меня поразило не столько ее лицо, сколько отчаянная тоска в ее глазах. Мне она показалась белой птицей с подрезанными крыльями. Рядом с ней — стройный, подтянутый военный, восточного типа. Он не сводил с нее горящего взгляда, от которого мне, вчуже стало как-то не по себе. На эту пару обращали внимание многие. Даже Станиславский, проходя мимо нее замедлил шаги, а пройдя сказал толстяку:

— Такого яркого типа Отелло, я еще не встречал в жизни. Тут есть, или будет большая драма...

*

Когда мы поднялись по ступенькам ресторана из-за крайнего столика встал не молодой и не высокий военный — начальник Артиллерийских Курсов Усовершенствования Командного Состава — Балабин. Поздоровавшись, он представил бывшего с ним преподавателя тех-же курсов Терновского.

— Заметил вас еще издали, — сказал Балабин, — и поспешил забронировать вам места. Видите какая сегодня уйма народу. Даже мы решили вдохнуть запах моря.

Вскоре я заметила медленно приближающуюся пару, которую видела на берегу. Девушка шла, чуть наклонив голову, и невнимательно слушала своего спутника. Балабин и Терновский переглянулись. Не успела я спросить, знают ли они их, как Терновский, приподнялся и сделал им знак рукой. Они ускорили шаги и через минуту нас познакомили. Девушка оказалась родственницей Терновского, а ее спутник — слушателем артиллерийских курсов, Иваном Амеровичем Грачевым. Имя и фамилия совсем не подходили к его экзотической внешности, а отчество звучало диссонансом. Здороваясь со мной, Грачев сначала потянул мою руку ко лбу, потом к сердцу и губам. Сидевшие за соседним столиком изумленно оглядели его, а Балабин, наклонившись к Терновскому, сказал вполголоса:

— Попросите его, что бы он не делал этого.

— Просил не раз, но вы же знаете его — хмуро ответил тот.

Грачев сидел рядом со мной молча и только исподлобья часто взглядывал на свою соседку справа, которая также не

участвовала в разговоре и попрежнему смотрела вдаль, как будто ее туда притягивала неведомая сила.

— Вы не находите, — вдруг неожиданно сказал он по-французски Терновскому, — что мадам Элен сейчас очень похожа на Офелию?

— Скорее на голову Медузы, — ответил тот, на том же языке.

Грачев не согласился и вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая, поняла ли я. Я ответила, что поняла.

— Это очень приятно, — оживился он, — мне очень тяжело, что я не знаю вашего языка. Вадим Николаевич дает мне уроки, но я до сих пор выучил только семнадцать слов.

Слушая Грачева я ломала голову, кто он? Он рассказывал мне свои впечатления о Берлине и Париже, где он учился. Восхищался Ниццей, Венецией и Римом. Говорил о своей «прекрасной родине», о тоске, которая стала меньше, когда он познакомился с «мадам Элен». Чувствовалось, что еще недавно жизнь его была иной, и протекала она за пределами СССР. А между тем он носил скромную форму советского артиллериста и одна «шпала» указывала на его невысокий чин.

Когда Грачев увлекался и сильно повышал голос, то Балабин наклонялся к нему и просил говорить тише.

Тот досадливо дергал плечем, но подчинялся. В нем чувствовалась привычка повелевать и размах богатого человека.

Увидев проходившую продавщицу с цветами, он оглянулся, ища кого-то, потом встал, сбегал по ступенькам и вернулся с огромной охапкой роз. Он положил их перед «мадам Элен». Изумленная цветочница, несколько секунд еще смотрела то на пустую корзину, то ему вслед (розы стоили в то время очень дорого), а потом побежала за новым товаром.

Публика тоже с любопытством смотрела на наш столик. Розенель, повернув голову, окинула оценивающим взглядом цветы и их владелицу, и ее подведенные брови приподнялись.

Елена Алексеевна (я не совсем уверена, что точно запомнила ее имя), как видно обладала большой выдержкой, она не смутилась и спокойно-холодно поблагодарила поклонника. Выждав немного, она поднялась, извинилась перед нами, сославшись на сильную головную боль и попросила Терновского проводить ее.

Грачев страшно заволновался. Он кричал, чуть не на весь ресторан, что нужно немедленно обратиться к доктору. Что он заплатит ему, сколько тот захочет и порывается бежать искать его, но Балабин, ухватив его за рукав, удержал и заторопился уйти вместе, чтобы кончить даровой спектакль для окружающих. Я заметила, что когда они уходили, из-за столика невдалеке поднялись два штатских, одетых в одинаковые летние спортивные костюмы, расплатились и последовали в отдалении за ними.

*

Вскоре я узнала от Балабина, кто был «Грачев». Во время переворота в Персии, Советы укрыли одного из претендентов на персидский престол, увезли его в СССР, дали ему имя Иван Грачев и отчество, по его просьбе, Амерович. Устроили его вольнослушателем на высшие артиллерийские курсы, возложив ответственность за него на Балабина, а Терновского, знающего языки, прикрепили к нему в качестве гувернера. Был при нем еще какой-то политрук, исполнявший обязанности не то надсмотрщика, не то вестового, и, разумеется, также негласный надзор ГПУ.

Через месяц я неожиданно встретилась с «Иваном Амеровичем» на Невском. Он шел с мрачным видом, а рядом озабоченно шагал, нагруженный покупками, не высокий, но крепкий политрук и опасливо косился на своего «патроча».

Увидев меня, Грачев узнал меня сразу и заулыбался. Он поздоровался со мной, как и в Сестрорецке и сразу заговорил со мной, как с близкой знакомой, изливая все, что было на душе:

— Мне очень тяжело, мадам, — говорил он, печально скользя глазами по серым водам Фонтанки, — и я многого не могу понять здесь. Я живу сейчас в простом деревянном домике, на Полигоне, в Луге. Сплю на жесткой постели под противным серым одеялом. У меня есть средства купить себе хороший дом и жить, как я привык, а мне говорят — нельзя. Почему? Мне не разрешают даже пользоваться моими вещами. Драгоценный перстень, принадлежащий моему роду, я должен носить не на руке, а здесь, — он хлопнул себя по гарману гимнастерки, — а его никто из предков моих не снимал с пальца, до смерти. У меня есть драгоценное оружие, а я вынужден носить простую саблю. Пока я учусь — мирюсь с этим. Но я хочу жениться и моя жена должна жить, как ей по

лагается — не так, как живут жены ваших офицеров, у нее должен быть дом и много прислуги. Мне говорят, что я должен жить так, чтобы не раскрыли мое инкогнито, что здесь много английских и других шпионов. А мне пообещали помочь занять то место, которое принадлежит мне по праву. Это только и держит меня здесь.

Он взглянул на окно цветочного магазина:

— Скажите, пожалуйста, ему, — он указал на политрука, — чтобы он купил два букета темно-красных роз, самых лучших.

Политрук уныло взглянул на меня и покорно поплелся в магазин.

— Эй! Твоя скоро! — крикнул ему вслед Грачев таким тоном, что я невольно улыбнулась. Взглянув на меня, улыбнулся и он:

— Но ведь он не офицер, а парвеню, мадам. Я когда забываю его трудное имя так и зову его. — Дальше он перевел разговор на Елену Алексевну. — Ведь она прелестна, не правда ли? Настоящая персидская, только золотая! Поразительно воспитана и как скромна! В Германии и Франции женщины утратили украшающую их скромность, которая сохранилась в моей и в вашей стране.

Он не скрыл от меня, что намереваясь жениться, он сообщил через своего чуть ли не родственника, члена персидского посольства, об этом родным. А также написал о желании жениться советским властям, и только ждет ответа, чтобы сделать официальное предложение.

В это время появился политрук с цветами. Подарив мне один букет, Грачев распрощался со мной у моего дома.

*

Мне пришлось на время расстаться с Ленинградом и я не знала ничего о нем, пока не встретила случайно в Сочи с Балабиным. Он рассказал мне следующее: прошло порядочно времени, прежде, чем Грачев получил ответы из дома и из Москвы. По наблюдениям Балабина, родные не одобряли брака с русской и по этому поводу приезжал какой-то рыжий перс, говорил с Грачевым около двух часов и уехал злой. Но Советы, наоборот, очень желали этого брака, понимая, что он привяжет Грачева крепче к ним и на него можно бу-

дет влиять через жену. Они приказали «посоветовать» Терновскому привезти свою родственницу в Лугу и всячески покровительствовали этому роману.

— И вот однажды, — продолжал Балабин, — он уехал в Ленинград и вернулся лишь под вечер. Только я вышел, чтобы зайти к нему, вижу мимо клуба и теннисной площадки, где было полно слушателей и преподавателей с семьями, ожидавших начала концерта, движется на меня сплошной розовый куст, а позади что-то блестящее. Я прямо остолбенел. Иван Амерович в полном своем параде, со всеми орденами и оружием идет делать предложение Елене Алексеевне. Перехватил я жениха и тещу в лес, чтоб скрыть его от нескромных взоров, а он артачится, не идет. Что делать? Тут с минуты на минуту из северного лагеря слушатели артакадемии на концерт пойдут, с первого полигона едут батареи на ночную стрельбу, а мы стоим с ним, как раз на дороге и препираемся. Насилу уговорил его. Он чуть не плакал от огорчения, что не может показаться невесте во всей красе. А у Терновских началась драма. Елена Алексеевна оказалась дамой с большим характером. Наотрез отказалась выходить замуж за него. Как ее ни уговаривали «смотреть на это, как на государственное важное дело», и слушать не хочет; одно твердит «не выйду, хоть, убейте». Терновский, бедняга, мечется между двух огней — и Амерович ему не дает покоя и свыше нажимают, а он любил ее, как свою дочь.

И что вы думаете, она все-таки ему отказала, под предлогом, что больше не хочет выходить замуж, а пойдет в монастырь. После этого мы полдня ползали цепью по всему полигону, жениха искали. На третий день под утро он сам пришел. Он, видите-ли, принадлежал к секте огнепоклонников и ушел для совершения какого-то религиозного таинства. Прихрамал домой страшный — осунулся, обросший, но веселый, — почему-то был уверен, что сможет уговорить ее и не получит отказа. Привел себя в порядок, побрился, приделался и пошел снова делать предложение. А тут случилось непредвиденное — невеста сбежала. Да еще по слухам не одна, а расписавшись тайком в ЗАКС-е с одним командиром полка. Умно поступила — сразу разрубила узел.

Но, тут и пошло! Амерович хотел застрелить Терновского, предполагая соучастие. Сам пытался стреляться, насилу вчетвером скрутили его и отобрали оружие. Потом пришлось

стеречь, чтобы не повесился. Тогда наш начальник Особого Отдела, взялся сам за это дело. Привез очаровательную машинистку — Веронику. Очень стройную, хрупкую брюнетку с голубыми глазами. Не знаю, где он ее откопал. Но видно, что была хорошо воспитана и по-французски говорила бегло. Сняли им дачу под Лугой. Амеровича отправили туда на поправку, а Веронику заведывать хозяйством и врачевать его рану. Ничего, вылечила и довольно быстро. Вместо выпуска (он два года на курсах у нас был) его перевели в Академию Фрунзе — он и теперь там — слушателем. Вот только не знаю «перевелась» ли с ним Вероника. Мне говорили, что он уже прилично говорит и пишет по-русски. А я, — Балабин усмехнулся и провел рукой по голове, — пострадал за несвершившийся брак: сняли меня с поста нач. АККУКС-а и послали на преподавательскую работу в Артакадемию, а Терновского перевели в Бронетанковый КУКС. Так по сватам первая палка и проехала...

*

В 1933 или 1934 гг. (точно не помню) попала я на выпускной вечер в Академию Генерального Штаба. В толпе слушателей заметила «Грачева». Он сильно изменился. Постарел, осунулся и огрубел. Брови были насуплены, у рта появились недобрые складки. Когда наши взгляды встретились, на мгновение его лицо приняло прежнее выражение, но потом он нахмурился еще больше, как видно в нем пробудились воспоминания о прошлом. Все же он подошел, любезно поздоровался, но руки не поцеловал. Говорил только по-русски, на отвлеченные темы и быстро скрылся.

Увидела я его снова перед ужином, спускаясь с лестницы. Догнав меня он спросил сдавленным голосом, по-французски:

— Известная вам особа, замужем и счастлива?

— Я ее не видела, но слышала, что да — ответила я. Мне показалось, что он скрипнул зубами. Молча поклонившись, быстро сбежал вниз.

— Вы оказывается знакомы? — спросил подойдя ко мне, один из руководителей академии.

— Еще раньше чем с вами, когда он был в АККУКСе.

— И не говорил по-русски, — рассмеялся тот, — но теперь он уже принят в кандидаты партии и скоро получит пар-

тийный билет... Осторожно! — он поддержал меня под руку. — Действительно, для тех, кто его хорошо знал раньше, все это сногшибательно..

*

Больше я И. А. Грачева не встречала. Что с ним теперь — не знаю. Но полагаю, что всеармейскую чистку 1937-38 г. г. он прошел благополучно и Кремль хранит его для своих дальнейших целей. Быть может, среди новой эмиграции найдутся еще лица, встречавшие его в СССР, и докажут о нем то, что неизвестно мне.

НАСЛЕДСТВО

Жила в Ленинграде гражданка С. Была она вдовой. Служила счетоводом в крупном учреждении. Считалась очень хорошим работником. Жизнь вела скромную, соответствующую зарплате и общему уровню жизни советских граждан. О лучшей жизни С. не мечтала (по крайней мере вслух).

Мечты ее не выходили из пределов выигрыша по облигациям бесчисленных займов и получения премий — путевки в дом отдыха.

Да еще, как у каждой матери, была у нее мечта о хорошем женихе для единственной дочери. Жених, в ее представлении должен был быть с солидной зарплатой, интеллигентный бухгалтер или помощник бухгалтера.

Неизвестно о каком женихе мечтала ее молоденькая дочка, но пока она тоже была довольна жизнью. Работала фотографом в плохенькой фотографии и беззаботно флиртовала с клиентами.

В одно весеннее, солнечное утро с ясного неба ударил гром: вдова получила повестку — срочный вызов в НКВД... И не в районное отделение, а в «Большой Дом»... Дом известный всей области, стены которого облицованы снятыми с могил мраморными плитами. И эти обращенные внутрь надписями плиты стали символом того, что попавший туда — живым не вернется...

Наплакавшись и дав дочери указания и советы на все случаи жизни, вдова попрощалась с ней. И, покорясь неизбежной участи, заплетающейся походной, поплелась на вызов.

В «Бюро пропусков» С. робко протянула в окошечко свою повестку. Дежурный сотрудник грубо кричавший на стоявшую впереди женщину, взглянув на повестку С., а затем на какие-то бумаги, согнал с лица высокомерие и улыбнулся почти нежно:

— Вот вам ваш пропуск, гражданка С. Прошу вас обождать минутку, я позвоню, чтобы вас проводили...

Другой сотрудник любезно открывал перед С. все двери, вежливо пропуская ее вперед. Поднимаясь по лестнице, он даже бережно поддерживал вдову под локоть. Это было кстати, ибо бедная женщина от волнения не различала ступеней.

Когда С. переступила порог кабинета, навстречу ей из-за стола поднялся майор государственной безопасности. На его упитанном лице тоже играла приветливая улыбка. Он указал ей радушным жестом в кресло.

Несколько минут царило молчание. Сохраняя улыбку, майор привычно сверил С. взглядом.

— Скажите, гражданка С., ваш отец жил в Англии?

У вдовы окончательно потемнело в глазах. Срывающимся голосом она подтвердила, что отец ее эмигрировал в 1923 году, куда — она не знает, так как переписки с ним не имела. Во всех анкетах она не скрывала того, что отец за-границей...

Майор выслушал ее с тем же благосклонным видом, потом сказал:

— Ваш отец проживал все время в Англии. Он умер несколько недель тому назад. Вы являетесь прямой наследницей его имущества. Состояние, которое он оставил, исчисляется в переводе на наши деньги, в сто три тысячи рублей золотом. Вы можете его получить.

С. только в изумлении моргала глазами.

«Что это? Насмешка? Мистификация? Ловушка?» — мелькнуло у нее в мозгу.

— Я не шучу, — как бы прочитав ее мысли, заговорил чекист, — ваш отец действительно умер в Англии, оставив состояние, принадлежащее вам по закону. Советское правительство всегда стоит на страже интересов своих граждан. Поэтому все хлопоты по введению вас в права наследства оно берет на себя. И, если вы хотите, вы можете получить эти деньги.

Пока С., все еще не уверенная в том, что это не сон и не ловушка, соображала, что ему ответить, майор снова спросил:

— Метрическое свидетельство у вас на руках?

— Нет. Оно утеряно.

— Где вы родились? Здесь?

— Нет, в Одессе.

— Завтра утром, чтобы не затягивать дела, выезжайте в Одессу. Мы вам поможем и вы без затруднения достанете копию. Билет до Одессы мы достанем вам по нашей «бронь». Кстати, поищите на всякий случай, у себя семейные документы, если они у вас сохранились. А пока подпишите эту

бумагу, где вы признаете себя наследницей и поручаете нам вести это дело.

Утром, в условленный час, к дому, где жила С., подна-тил роскошный ЗИС и умчал вдову на Витебский (б. Царско-сельский) вокзал, где ее усадили в купе международного вагона. Это путешествие казалось ей сном, как и краткое пре-бывание в Одессе, где перед ней распахивались все двери советских Сезамов.

Не прошло и двух месяцев, как она снова была вызвана в «Большой Дом». Дело с наследством было кончено и она расписалась в получении его.

И сразу стало ясно, почему советское правительство так рьяно отстаивает права своих граждан, наследующих капита-лы за границей, и берет на себя все хлопоты в подобных де-лах. Полноценные английские фунты стерлингов остались в руках советской власти, а С. получила лишь боны в магази-ны Торгсина на сумму в сто три тысячи рублей.

Но вдове, конечно, и в голову не пришло возражать. Хо-тя в то время сеть торгсиновских магазинов уже сократилась и подготавливалась к ликвидации (золото у населения уже было все выкачено), товары в оставшихся магазинах вздо-рожали и стали хуже качеством. Осторожные обладатели торгсиновских бонов заблаговременно старались сбыть изли-шек таковых на черном рынке. На черной бирже цена на бо-ны падала. За торгсиновский рубль давали вместо 40 лишь 20-25 рублей.

С. не посмела спросить, что ей придется делать с бона-ми после возможной ликвидации «Торгсина». Она поблагода-рила правительство и НКВД за заботу и поспешила домой, крепко прижимая к груди сумочку, где лежало «наследство».

Для семьи С. началась сказочная жизнь. Мать и дочь переменили свою девятиметровую серую коморку на двадца-тидвухметровую солнечную комнату в том же доме (управдо-мы большие охотники до торгсиновских бонов) и заменили ширпотребовскую дрянь «торгсиновскими» туалетами и други-ми вещами.

Тут кончается сказка и начинается советская быль. Не успели позеленевшие от зависти соседки вернуть свой нор-мальный цвет лица, а клиенты фотографий примириться с уходом хорошенькой фотографши, поступившей учиться в ки-ностудию, как вдову С. вызвали в партком. Ей поставили в

упрек ее социальное происхождение, коммерсанта и эмигранта отца и . . . полученное наследство.

Вдова «догадалась» и пожертвовала «добровольно» значительную часть наследства в МОПР, Осоавиахим и на «индустриализацию и оборону СССР».

Но это ее спасло ненадолго. Сначала С. обвинили «в небрежном отношении к работе» и уволили. Затем «в связи с открытием вредительства» в учреждении, где она служила раньше, — арестовали. Книжка с бонами попала при обыске в объемистый портфель сотрудника НКВД.

Дочь С. бросила учение, продавала за бесценок вещи, чтобы поддержать мать в тюрьме денежными передачами и ездила хлопотать за нее по всем инстанциям. Пока дело С. «пересматривалось», вдова умерла в тюремной больнице «Крестов».

На сей раз советское правительство не стало «на защиту интересов своей гражданки»: дочь С. — наследница тысячного состояния, долгое время жила впроголодь, не имея возможности устроиться на работу. Перед войной она вышла замуж и уехала с мужем в провинцию, так и не получив ничего.

ТРАВЛЯ УЧЕНЫХ

Ночью меня разбудил телефонный звонок. Взглянула на часы — без десяти час.

— Вы срочно выезжаете в Пушкин, — прогудел в мембране голос редактора. — Там во Всесоюзном сельско-хозяйственном институте будет общее собрание профессуры с участием научных сотрудников и студентов. Назначено обсуждение последней статьи Митина. Вы читали?

— Нет, — созналась я.

— Как? Не читали? Плохо! Срочно посылаю вам журнал со статьей. Вы знакомы с теорией о генах в растениеводстве?

Я кратко изложила свои скромные познания в области генетики.

— Так вот. Теория о генетике растений осуждена партийным руководством. Теория буржуазная, идеологически вредная. Пришлю вам несколько статей. Основа — статьи академика Лысенко. Ознакомьтесь. Кроме отчета о собрании в ВСХИ, дадите нам очерк об опытной станции Всесоюзного Института Растениеводства. Она тоже в Пушкине. Подчеркните имена и работу молодых советских ученых-«лысенковцев». Имена их получите от секретаря Райкома Партии и секретаря парторганизации ВИР. Побеседуйте с ними. Поняли. Отлично. Можете задержаться сколько понадобится для организации материала. Задание ответственное. Желаю успеха...

*

Всесоюзный Сельско-Хозяйственный Институт расположен недалеко от Александровского Дворца в «Федоровском городке». Меня встретили директор и ответственный секретарь парторганизации Института.

Собрание предполагали начать через час. Я выразила желание пройтись по Институту, посмотреть лаборатории, поговорить до собрания с профессурой и студентами.

— Мне кажется, что для осмотра института у вас мало времени, — возразил мне секретарь парткома. — И вы утомлены, наверно, с дороги. Я вызову сюда кое-кого из научных сотрудников и студентов для беседы.

Все они оказались, как и можно было предположить, «противниками ген» и последователями Лысенко. От них я услышала ряд цитат из прочитанных мною накануне статей и... ничего «от себя».

То же они повторяли потом и другим, съехавшимся представителям печати. Мною завладел корреспондент местной газеты. Он, видимо, старался блеснуть своими познаниями в области селекции и крепостью своих «диалектических и марксо-ленино-сталинских основ». Он восхвалял мне заодно директора института Л. — «железного коммуниста» и новоизбранного депутата.

Зал Института тесно заполнился студентами и преподавателями. Мне удалось избежать чести сидеть в первых рядах, вместе с остальными корреспондентами. Уступив свое место седому профессору, я, несмотря на протест администрации, удобно устроилась сбоку у стены, среди студентов. Отсюда мне хорошо была видна и сцена, где разместился «президиум собрания», и аудитория.

Собрание открыл секретарь парткома. Он огласил список кандидатов, предложенных в президиум. Таковыми были: директор института, сам секретарь парткома, два молодых доцента, два студента «отличной учебы», одна студентка, одна лаборантка.

Затем был избран «почетный президиум» (заочный), куда вошли Сталин, Молотов, Калинин, Берия, Жданов.

Студенты настойчиво выкрикивали еще две фамилии в добавление к президиуму. После голосования, два старых профессора заняли место на сцене.

Первым выступил директор Института. Его речь состояла из цитат статей Митина и Лысенко, и передовой «Правды». В конце он обратился к педагогам и студентам, призывая их бороться против «генетики», «против этого вредного течения в советской науке». «Железный большевик»-директор требовал от старых профессоров «отказа от заблуждений и перехода на правильный марксистский путь».

Вслед за ним выступил и секретарь парткома, и те доценты и студенты, с которыми меня познакомили по приезде. Все они «с пролетарским негодованием» клеймили «гены», как «тормоз для пышного расцвета социалистической науки и прямую контрреволюционную угрозу».

Студенческие массы молчали. Я не могла прочесть на их лицах ни одобрения, ни осуждения.

— Слово предоставляется профессору Г..., — как-то вяло объявил председатель собрания.

Зал всколыхнулся.. Редкие хлопки перешли в дружные аплодисменты, когда из-за стола поднялся один из старейших профессоров. Я не могу сейчас точно передать его речь. Но все, что он говорил в защиту генетики, профессор подтверждал научными данными и перечислениями уже достигнутых положительных результатов.

— Я не политик и никогда таковым не был. Сорок лет жизни я посвятил науке. И я буду всегда утверждать, что те, кто отвергают истину, выхолащивают науку. Нельзя на основании одного, еще не вполне законченного опыта Лысенко, отметить то, что проверено на практике многими учеными, в том числе академиком Н. И. Вавиловым, ученым мирового масштаба, — закончил он.

Когда профессор умолк, грянули аплодисменты. Председатель собрания, нервничая, опрокинул стакан с водой. Не один профессор отстаивал генетику в растениеводстве. За нее горячо вступились еще несколько ученых и ряд студентов.

Дружные хлопки, которыми их награждали, заглушали реплики и редкие свистки в конце зала.

В противовес, председатель президиума выпускал новых ораторов, которые не научными данными, а ссылками на «догмат» Маркса-Ленина-Сталина, старались доказать «контрреволюционную сущность буржуазной генетической теории».

— Я прошу слова!

Из публики поднимается седой ученый. Он говорит не со сцены, а из зала, обращаясь к президиуму:

— Я спрашиваю тех ораторов, которые обвиняют нас в том, что наши теории буржуазны, знают они, что такое наука? Нет вы не знаете, ибо для вас она — путь к карьере к благополучию. Наука выше всего. Когда-то первых ученых жгли на кострах, изгоняли. Но они продолжали служить науке и мы пользуемся результатами их трудов. Науку нельзя подчинить. Она должна быть свободна, как совесть. Каждый ученый стремится сделать те открытия, которые послужат на благо всему человечеству. И эскимосам, и африканцам, и индусам. Поэтому науку нельзя квалифицировать с точки зрения режима и нации. Мы признаем все полезные открытия ученых капиталистических стран, и они признают наши, несмотря на разницу государственного строя. Мне уже семьде-

сят лет и я уже вложил свою скромную лепту в дело науки. И я говорю вам, что все труды Н. И. Вавилова построены на совершенно правильной основе — на генетике. Неоспоримость этого доказана и теоретически и практически...

Волнение среди студенческой аудитории возросло. Споры возникли и среди моих соседей. Общие голоса спорящих в зале уже заглушали новых ораторов. Собрание носило теперь хаотический характер. Выступавших перебивали из зала. Кричали стараясь перекрыть один другого, не обращая внимания на председателя собрания, тщетно старавшегося водворить порядок.

Это удалось не скоро. Часть профессуры и студентов демонстративно покинула зал.

Когда водворилась, наконец, тишина, из-за стола поднялся секретарь парткома с листом бумаги в руках и зачитал резолюцию собрания:

— Общее собрание профессуры, научных работников и студентов Всесоюзного Сельско-Хозяйственного Института единогласно постановило: осудить генетическую теорию в растениеводстве, как буржуазную и вредную, отвлекающую советскую науку от основного социалистического пути и тормозящую ее развитие.

*

Отдаленный уголок Александровского парка. Седовласый профессор сидит рядом со мной на скамейке. Концом палки он чертит на земле узоры.

— Как бы вы ни написали ваш отчет, вы нам ничем не поможете. Пишите так, как от вас требуют: этим вы не повредите нам. Ведь вся эта... травля — это по приказу свыше. Нас хотят или переломить, или уничтожить. Мы обречены... Это знаем мы, это знают все. Некоторых ломают, подчинят себе, а остальных — уничтожат. И мне не так жаль себя и своих соратников — коллег, как молодежь. Тех, кто выступали за нас сегодня... Среди них так много способных, больше — талантливых... им же это зачтется и они полетят, как щепки от леса... А в ВИР вы все-таки пойдите, — посоветовал мне на прощанье профессор. — Как раз завтра туда приезжает Вавилов. Он, я думаю, расскажет и покажет вам много интересного. Это пригодится не для вашей редакции, а для вас лично.

В ВИР-е я не стала разыскивать администрацию, а пошла по дороге между маленькими домиками-лабораториями и покрытыми стеклом парниками. Везде виднелись углубленные в работу люди, не обращавшие на меня никакого внимания.

В лаборатории, мимо которой я проходила, послышался звон разбитого стекла и слабый женский крик.

Решив узнать, приехал ли академик Вавилов, я подошла к человеку в темном костюме, нагнувшемуся над какими-то растениями покрытыми колпачками. Он поднялся, и я увидела Н. И. Вавилова.

Ученый спросил меня о цели моего приезда. Я ответила. На его лицо набежала тень. Вавилов понял, что редакция послала меня с определенным заданием в разгар наступления на генетику.

— Вы видели уже директора станции? Говорили с ним?

— Нет. Я хотела осмотреть ВИР, сделать свои выводы, а потом поговорить с администрацией. Меня очень интересует работа ВИР-а в целом, независимо от того, смогу ли я вместить весь материал в мой очерк.

Академик пытливо взглянул на меня и промолчал.

В это время из лаборатории вышла девушка. Ея узкие, немного раскосые, глаза и слегка приплюснутый нос, напомнили о далекой Азии. В руках у девушки были осколки вазона и колб.

Увидев разбитые колбы, академик нахмурился, а у девушки слезы хлынули обильным ливнем.

— Чего вы плачете? Раз разбили, ничего уж не поделаешь, — ворчливо сказал ученый.

— Саженка жалко, — прорыдала та. — Такой удачный был. Сегодня дал новый росток.

Брови Вавилова разошлись и он спрятал набежавшую на губы улыбку.

— Выкиньте осколки и вытрите глаза. Я вам дам другой экземпляр еще лучший. И не горюйте — это со всеми случается.

Когда она ушла, он сказал мне, улыбаясь:

— Очень прилежная и способная девушка. И как видите, любит свое дело. Это главное.

Потом добавил:

— Пойдемте со мной. У меня еще есть время и я покажу вам то, что, может быть, вас заинтересует.

К нам быстро приближалась группа людей: директор филиала ВИР-а, за ним два иностранца и гид-переводчик...

— Немецкие ученые. Приехали просить разрешения осмотреть ВИР, — сообщил директор Вавилову.

Узнав, что перед ними академик Вавилов, немцы почтительно сняли шляпы. Вавилов, поздоровавшись с ними, охотно отвечал на их вопросы. Гости выслушивали объяснения с большим вниманием.

Мы пошли вместе по ВИР-у. Немецких ученых поразило количество разнообразных экземпляров пшеницы. Здесь были собраны все существующие в мире сорта и испытывалась их морозостойкость. Но еще больше их поразило и восхищало размер картофеля, выращенного одним из научных работников. У них даже приоткрылись рты.

Вытащив из кармана платок, немец бережно завернул в него подаренный ему экземпляр и уложил в портфель.

Прибежали сказать, что Вавилова просят к телефону. Он извинился и пошел. Вернувшись через четверть часа, академик сообщил, что его срочно вызывают и, распрощавшись с нами.

— Надеюсь, в ваш следующий приезд я смогу уделить вам больше времени, — сказал он мне на прощание.

Но увидеться еще раз с Н. И. Вавиловым мне не было суждено. Вскоре он был арестован...

Все, что я увидела в филиале ВИР-а, говорило о громадной и упорной работе, проделанные опыты по испытанию многих тропических и субтропических растений, для выращивания их в климатических условиях юга России и ее азиатской части, были огромны и дали много положительных результатов. Многие сорта плодов и овощей, выращенных в ВИР-е, не уступали, а зачастую превосходили Мичуринские.

Несмотря на широко рекламируемую нашей прессой «неусыпную заботу партии, правительства, и самого великого Сталина о науке и об ученых», я услышала от администрации и научных работников ВИР-а много жалоб на то, что их работа тормозится и страдает от нехватки самых необходимых предметов.

Не хватало обогревательных ламп, колб и микроскопов для лабораторий. С трудом доставались даже стекла для оранжей и маленькие ручные лейки для поливки.

Непосредственно к ВИР-у примыкали домики, где жили многие профессора и научные сотрудники. В одном из таких домиков была отведена квартирна для Вавилова, где он останавливался во время приездов в Пушкин. Летом туда «на дачу» приезжала семья ученого.

Жили все тесно, скученно. Семейные занимали одну-две комнаты. В некоторых комнатах жили по два-три доцента. Нужно при этом учесть, что ВИР находился в противоположной от Сельско-Хозяйственного института части города, за «Московскими Воротами» у Трялова. И бщшинству научных работников, которые по совместительству преподавали или работали в лабораториях СХИ, приходилось покрывать все расстояние до Института и обратно пешком. Автобусного сообщения не было: автобусы ходили лишь от вокзала к дворцам и к «Орловским воротам».

После осмотра ВИР-а, я беседовала «с партийными руководителями» станции. Они, наряду с молодыми учеными, «стоящими на социалистической научной платформе», рекомендовали моему вниманию «еще одного последователя Г. Д. Лысенко» — бывшего сторожа ВИР-а. По их словам, этот сторож, «заразившись энтузиазмом от молодых энтузиастов науки», получил от администрации ВИР-а участок земли «для опытов». И теперь «с большим упорством» выращивает по методу Мичурина-Лысенко разные сорта плодов и овощей.

Я побывала на участке этого «энтузиаста науки». Что там стоило отметить, — это пасеку в несколько ульев, к которой он относился действительно хозяйственно-любовно. Небольшой огородик, ничего выдающегося, с точки зрения науки, не представлял. И никаких особых результатов опытов этого «мичуринца-лысенковца» я не видела. Судя по разговору с ним, сторожу просто нравилось называться «последователем академика», а в научных основах растениеводства он отнюдь не разбирался.

Но позже в «Ленинградской Правде» была напечатана статья одного побывавшего в ВИР-е корреспондента, где рекламировался этот «энтузиаст науки, последователь Мичурина-Лысенко». Корреспондент подчеркивает, что «Районный

Совет и Районный Комитет партии гор. Пушкина, уделяют большое внимание его опытам и оказывают ему помощь».

Это — обычный трюк советов: шумихой, поднятой вокруг несуществующих «новых открытий», они хотят оправдать свои гонения на старых «отсталых» ученых.

Травля продолжалась, идя к своему «идеологически выдержанному концу».

Мой сухой отчет о собрании в ВСХИ был опубликован без оговорок, но «ответственного задания», по мнению редактора, я как следует не выполнила. Его карандаш изъясил из моего очерка о ВИР-е все, что касалось работ Н. И. Вавилова и его последователей.

Им же были сгущены краски, подчеркивающие «достижения» последователей Лысенко. По этому поводу у меня с редактором был тихий, но неприятный для обоих разговор. Но более тяжелых последствий для меня — к чести редактора — не было.

Конец разгрома генетики в растениеводстве был, по собранным мною сведениям, таков. В одну из ночей к ВИР-у подъехали легковые машины. Остановились, погасив фары. Из них вышли люди в темных штатских пальто с поднятыми воротниками. Они направились к квартирам, где жили «генетики».

Аресты ученых произошли одновременно в Ленинграде, в Москве, Ростове, Одессе и в других местах СССР. Одна из таких же машин увезла и большого русского ученого Н. И. Вавилова в тюрьму... в ссылку в Магадан... На смерть...

Когда под утро, окончив обыск НКВД рассаживало по машинам арестованных, из дому выскочила жена одного профессора: в ее руках был теплый шарф, который она забыла дать мужу.

— Он ему не нужен, — с издевательской усмешкой сказал молодой энкаведист из сопровождавших арестованных и начертил рукой по воздуху крест.

В связи с «делом» Н. И. Вавилова и других профессоров, были арестованы многие научные работники и студенты.

Академик Вавилов, не выдержав ссылки, скончался в Магадане. Неизвестно, сколько погибло высланных с ним

профессоров, доцентов и студентов. Но, может быть, кто-нибудь и выжил. Хотя бы часть молодежи — «щепок от леса»...

Теперь убедившись в несостоятельности и вредности псевдо-научных методов Лысенко, построенных на базе такой же порочной науки Маркса-Ленина-Сталина, и нанесших колоссальный урон сельскому хозяйству страны, — Советы начнут выискивать по концлагерям оставшихся в живых «генетиков». Их вернут из ссылки, дабы они воссоздали науку и спасли положение в сельском хозяйстве.

В Советском Союзе люди справедливо считают, что молчание не только золото, но это — жизнь. Поэтому вряд ли вернувшиеся расскажут о всех страданиях, которые перенесли за эти годы русские ученые в концентрационных лагерях «под неусыпной заботой советского правительства». Но всего перенесенного — они никогда не забудут.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

У правителей СССР есть одно достижение, о котором они скромно умалчивают. Большинство «советского народа» даже не знают о нем. Это — тюрьмы для малолетних преступников, юных «правонарушителей», где заключены дети до 15 лет. После 15-ти они переводятся в общие тюрьмы.

Я случайно о них узнала, встретившись с работающим там надзирателем педагогом. Позже оказалось, что в прошлом он был школьным учителем и был уволен за «непролетарское происхождение»: его отец был священником. Этот человек — гуманный и любящий детей — заинтересовал меня рассказами о своих питомцах.

Проникнуть туда, как, впрочем, и во все советские тюрьмы, было нелегко. Но мне, в конце концов, удалось получить нужное разрешение, благодаря знакомству с Макаренко, организатором трудовой колонии для беспризорных и автором нашумевшей «Педагогической Поэмы»...

«Заведение» помещалось в старом тюремном здании на окраине. Меня встретил коренастый и обрюзгший начальник энкаведист. Кроме охраны, остальные работники были вольнонаемные. По моей просьбе был вызван мой знакомый надзиратель, и мы направились в его отделение.

*

Поворачивается ключ, и железная дверь открывается с унылым скрипом. За ней — другая. Воспитатель оставляет меня в чисто вымытом, небольшом коридоре, отпирает другую дверь и скрывается за ней. Мне слышен его голос, отдающий приказания, разнобойные детские голоса и шарканье многочисленных ног.

— Я собрал их всех в классной комнате, — говорит он возвратившись. — Вы пока осмотрите спальню.

Все окна выходят во внутренний двор: часовые на вышках могут видеть все происходящее в отделениях.

Спальня — ряды нар. На них соломенные матрацы, покрытые серыми байковыми одеялами. Бросается в глаза обилие рисунков, прилепленных к стенам. Среди них выделяются написанные, как видно одной рукой, пейзажи и натюрморты. Особенно запомнился мне один пейзаж. Ранняя зи-

ма. Тишина. Низко нависшие тучи. На первом плане дерево. Оно согнулось под напором ветра и последние, сорванные с него листья, летят по воздуху. Холодом и какой-то леденящей тоской веет от этой картинкой... Несколько очень удачных рисунков на батальные темы — хорошая композиция и уверенность штриха.

— Очень талантливый, — говорит воспитатель.

Вглядевшись он смущенно срывает один неприличный рисунок...

— Горе с этими огольцами. Среди них много очень неплохих детей... Несмотря на все наносное, что дала им жизнь... Но я вас еще раз предупреждаю, что они озлоблены до предела... сами понимаете — хулиганы.

Мы входим в большую, довольно светлую комнату. Из-за парт и столов, заменяющих их, в меня впиваются десятки пар разной величины глаз и по классу проносится одним дыханием:

— Баба!!!???

И вдруг весь класс обрушивается на меня улюлюканием, несмолкаемым потоком циничных фраз, ругательств. Беснуются все от подростков до маленького, огненно-рыжего мальчугана, на вид не больше семи лет, который старался не отстать от других.

Достается всему — и мне, и моему костюму, и шляпе, и завитым волосам, и покрашенным губам.

Но особое раздражение у них вызвал мой портфель — очевидно по ассоциации с портфелями следователей.

Тщетно кричит воспитатель, старающийся водворить порядок и сам отпускающий в забывчивости крепкие слова... И вдруг я ощущаю на моих коленях чью-то голову, слышу чьи-то всхлипывания... И, прижимая к себе чужого сына, я говорю ему слова, которые сказала бы своему...

Кольцо вокруг меня сжимается плотней и плотней, отеснив надзирателя. И это уже не искривленные маски, а детские лица тянутся ко мне с молчаливой и с застенчивой просьбой о прощении и ласке. И я целую без разбора светлые и темные взлохмаченные головы и влажные глаза.

— Эй отдай! — раздается позади возглас и затем несколько фраз на воровском жаргоне.

Звуки ударов и куча тел в свалке на полу. Один выбивается из под нее, над глазом свежий синяк. С каким-то тор-

жественно светлым лицом мальчик подает мне снятые незаметно для меня мои часы. Вор загоняется в дальний угол. Размазывая по лицу кровь, он отругивается, но его и примкнувшую к нему компанию, остальные быстро заставляют замолчать.

*

И вот от этих «малолетних преступников» я услышала вопросы, которые потрясли меня не менее, чем их ругань:

Зачем я пришла? Действительно ли я хочу и могу помочь им? Смогу ли я написать правду о них?

Эти дети, вверженные и втопанные в грязь, требовали и ждали от меня помощи. Они увидели в моем посещении надежду на возврат на свободу — к своим семьям.

Никогда в жизни не ощущала я так остро своего бессилия и такого жгучего чувства стыда, как под этими, устремленными на меня со всех сторон пытливыми взглядами.

Что я могла сделать? Дать им несбыточную надежду? Солгать? Нет этого я не могла.

— Дети, — сказала я просто. — Не хочу вас обманывать. Боюсь, что я ничем не смогу помочь вам. Мне это очень тяжело, но ничего не поделаешь...

И они, умудренные тяжелой жизнью, поняли. Молча кивнули головами и плотней сгрудились вокруг меня. Казалось, между нами рухнула последняя преграда. Каждый из них хотел доказать мне свое доверие, показать, что он понял и не осуждает меня. Но я подбадривала и успокаивала их, а они меня.

— Я знаю, — серьезно и тихо сказал мальчик с симпатичным тонким лицом. — Это не от вас зависит. Мы все одинаково в тюрьме. Мы — здесь, а вы — на воле.

Я спросила, за что он осужден.

— За кражи. Мой отец инженер — расстрелян, или выслан, не знаю... Мать осталась без гроша. Нас трое и я старший: мне 13 лет, сестрам — восемь и шесть. Мать выгнали с работы. Мы продали все, что могли, большинство вещей у нас реквизирировали. Начали голодать. Тогда я стал красть в булочных хлеб. Когда с прилавка, когда из кошелок. Мать не знала ничего, она верила, что мне удалось найти сдельную работу в порту. Попался на том, что украл с прилавка 200 грамм масла. Судья был не злой — дал год условно. Младшая сестренка все плакала просила конфет. Я

ее очень люблю. Пошел красть для нее, попался снова. Получил два года, так как это был второй привод и к тому же докопались, что отец «враг народа». Мать жалко. Может быть, вы сможете ей рассказать все, чтобы она не думала обо мне очень плохо.

— А я не крал, — сказал другой. — Был у меня велосипед, пришлось продать. Отец заболел, не мог работать. Раз иду к товарищам, смотрю — у калитки соседнего дома стоит велосипед, совсем как мой. Так захотелось прокататься — сил нет. Думаю, прокачусь и поставлю обратно. Проехал один круг, хотел поставить. Нет, думаю, еще один. А тут кто-то увидел, дали знать постовым, они меня сцапали. Не поверили, что я просто так, осудили на год...

— Мы в магазин играли, — поднялась с моих колен, огненная головенка. — Остались после закрытия в «Гастрономе», под прилавком. Когда все ушли, начали мы покупать и продавать. Пятеро нас было. Я на стуле стоял, кассиром был. Касса там, во какая высокая. Денег в ней не много было, так мы их начетверо перервали, что бы больше было. Играли, играли темно стало. Мы свет зажгли. Тут нас сторож заметил. Как пришли мильтоны, я от страха прямо с кассы в крупу упал. Они меня не заметили, а как стали уходить, я закричал: страшно стало одному оставаться. Ну, и меня забрали. Троицм дали по году условно, их папы партийные. А нас двоих засудили, как... иница... иница... ну, словом, как заводилов, вот и сажу. Он тяжело вздохнул.

— Мамка у меня тоже есть, красивая, добрая. И папка хороший. Только их никогда дома нет. Днем на работе, а вечером на курс идут. А мы сами, значит...

— А у меня отца с матерью нет. На Сибири они. Кулаки были. Я с бабной жил, а как она померла, отдали меня соседи в детский дом. Плохо там было. Голодно. Зимой чуть все не померзли, Переболели с простуды, многие померли. По весне мы бежали. Я на Сибирь, к своим. Да только не нашел их. Ну и стал по городам блуждать. Красть научился. Матери не помню, а бабка хорошая была... Все молиться учила. Как на воле был, станет тяжело, пойду в церковь. Тепло, светло, поют хорошо. Поп раз добрый такой попался. Накормил. Пальто мне достал. Долго я ходил к нему. Он хотел меня в одну семью определить, да не вышло — церковь закрыли и его куда-то самого заслали.

— Мой отец — железнодорожник. Крушение стало. Отца посадили. Он не виноват — все один партеец подстроил. Как отца забрали, стал он к нам лазить, к мамке приставать. А она не хотела его, все об отце плакала. Он не отстаёт. Зло такое взяло меня. Подстерег я его в депо и дал я ему гаечным ключом по голове. Он упал, а я — бежать. Испугался. Он живой оказался. Дали мне три года условно. После он ни мне, ни матери проходу не давал. Довел, что я при всех пырнул его перочинным ножом в живот. Рана пустая оказалась. выжил он... скоро мне пятнадцать стукнет, — раздумчиво, как бы про себя, добавил он. — Переведут меня в «Кресты». Пропаду совсем.

Он потряхнул головой:

— Все равно жизнь пропадающая, выйду - добыю его... За отца, за нас всех!..

Одна за другой распаиваются детские души. Изъявленные, полные горя и тоски. Слушая их с горечью думаю о том, что эти непрожитые жизни уже подрезаны на корню. Воровская среда, тюрьма сгложут их.

*

Позже ребята угостили меня, самодеятельным концертом. В нем участвовали все, без исключения. Отпетые воришки демонстрировали тайны своего ремесла, уча меня, как я должна беречь сумку и карманы. Должна признаться, что в своей «работе», они достигли виртуозности. Остальные зорко следили за их руками, чтобы к ним чего не прилипло из моих вещей.

Уговорили надзирателя принести гармонь. Запевало вышел на середину круга.

Сталин Ленина убил
Женку свою застрелил
А теперь не спит — боится,
Что шкилет к нему стучится...
Эх доля дол-я,
Доля горькая моя...

— дружно подхватил хор.

Побледневший воспитатель, опрокинув стоявшую на дороге скамью, бросился к певцу и зажал ему рукой рот. От испуга у него даже затряслась челюсть, но его питомцы уговорили его не вмешиваться, пообещав «изменить репертуар».

— Сами не знают, что творят, — садясь рядом со мною и вытирая пот с лица, виновато пробормотал он.

Солисты меняются. Кто бы мог подумать, что у этого хилого подростка такой звучный голос, такая задушевность в пении.

Где ты мама, голубка моя?
Иссушила тоска твою грудь.
До утра не смыкала ты глаз,
Глядя в улиц тревожную муть.
Съела жизнь нас — тебя и меня.
Стал я хитрым бродягой и вором,
И дана мне дорога одна,
Красться ночью под шатким забором...
Дам я душу свою всю иссечь,
Познакомлюсь с замками тюрьмы,
Только мне бы, родная, тебя уберечь
От грозящей нужды и суммы.
Не терзайся отмыты твоею слезой
Те рубли, что достал грабежом,
И не думай, что я замахнусь
В грудь чужую финляндским ножом...
Если б только я знал, где могила отца,
Поклонился бы ей до земли:
Дорогой, ты пойми и прости, что я вор!
И за сына Творца умоли... *).

Слушатели всхлипывают. Шумно сморкается надзиратель...

— Простудился, второй день насморк мучит... — И отвернувшись смущенно в сторону, что-то смахивает с глаз.

Время истекло, надо уезжать. Моя записная книжка до конца заполняется адресами. Мальчишки суют мне в руки подарки «на память», рисунки, самодельные колоды карт, вылепленные из ржаного хлеба шахматные фигуры, трубки и пепельницы, сделанные из кусков железа отмычки.

«Гриша-рыжик», когда я нагнулась поцеловать его, обхватил меня за шею и долго не отпускал. Потом, проглотив слезы,

*) Автор песни семнадцатилетний «Витька-Вихрь», неуловимый смелый атаман шайки, ограбившей несколько магазинов в Ленинграде. По слухам, он сын расстрелянного известного капитана корабля.

потрепал меня по плечу, погладил по волосам и сказал солидным голосом:

— Ничего, голубка, не плачь. Увидимся на воле. А к мамке моей зайди. Не забудь. Она хорошая...

И заревев в голос, проскользнул между ног воспитателя и скрылся в «спальне»...

Я навестила его мать. А через некоторое время, действительно, встретила с ним «на воле».

Статью мою редактор не пропустил, найдя, что писать о «детских тюрьмах неудобно». Я не настаивала: писать, конечно, было «неудобно». Все, чем я могла помочь некоторым из детей, было сделано «по знакомству».

Жену, высланного или расстрелянного инженера я разыскала: она уже была выслана за Вятку. Узнав от соседей адрес, написала ей о том, что сына ее перевели до окончания срока в детскую трудовую колонию.

В суматохе жизни, потерялись многие нити, связывавшие меня с детской тюрьмой: о судьбе многих заключенных я ничего не знаю.

Однажды, развернув номер «Правды», наткнулась я на заметку, озаглавленную: «Новая вылазка классовых врагов». В ней сообщалось об убийстве секретаря парторганизации, крупного железнодорожного депо. Убийца — подросток, выпустив в секретаря пять пуль, шестой убил себя.

И передо мною всплыло юное лицо с глубокими морщинами у хорошо очерченного рта.

Я была только в одной тюрьме для «юных правонарушителей», — а их много. Они существуют почти во всех городах Советского Союза, и там томятся и морально разлагаются дети, за «преступления», высшим наказанием за которые могла бы быть в старое время только домашняя порка. Но советская власть запрещает родителям бить детей: она «гуманна»...

Через некоторое время я присутствовала на приеме у депутата Верховного Совета СССР Е. Мартехова. Редакция поручила мне написать ряд очерков «о работе избранников народа».

Мартехов, знатный стахановец-рабочий, сидел за столом, положив могучие кисти рук на грудку бумаг-прошений.

Посетители входили в кабинет в порядке очереди. Семьдесят пять процентов прошений — просьбы за невинно арестованных органами НКВД.

Но депутат не имеет права ни хлопотать за арестованных, ни оказывать помощь семьям «врагов народа». Самое большее, что он может при желании сделать, это переслать прошение прокурору, или в секретариат НКВД. Хотя это вовсе не означает, что прошение там будет принято и дело подследственного примет другой оборот, но люди хватаются и за эту хрупкую надежду.

Я вижу, что положение депутата, разговаривающего с очередной посетительницей, тяжелое. Он опасливо косится на меня и избегает смотреть на плачущую женщину с грудным ребенком на руках. Трехлетняя девочка, широко раскрыв глазенки, жметя к ногам матери.

В связи с арестом мужа, женщину с детьми высылают в трехдневный срок, выгоняют на улицу. Родных, которые могли бы ее приютить, нет. Знакомые все отшатнулись. Управдом не сдается ни на какие просьбы об отсрочке. Да он и не может ничего сделать без ведома прокурора. Квартира нужна для того, кто назначен на место арестованного. Но взамен семье не дают ничего. Жилищные отделы имеют секретный приказ: «Семьям репрессированных — ордеров на жилую площадь не давать».

Лоб депутата напряженно морщится. Пальцы, привыкшие к кузнечному молоту, нерешительно крутят «вечное перо», оно кажется очень хрупким в этой могучей, привыкшей держать молот, руке.

Несколько секунд проходит в молчании, но человеческое берет верх в сердце депутата:

— Пиши мне заявление. Куда ты денешься с ребятами, да еще с малыши...

Он тревожно вопросительно взглядывает на меня.

— Если следствие мужа еще не закончено, то ее по закону могут выселить лишь по истечении двухмесячного срока, или должны предоставить ей взамен комнату, - вскользь замечаю я.

— Видишь, — обрадованно говорит депутат, — значит, если есть такой закон, как говорит товарищ корреспондент, то можно сделать. На бумагу! Пиши! Я постараюсь проверить твое дело сразу. Но только на два месяца. Больше ничего сделать не могу...

Проводив глазами обрадованную женщину и подавив вздох, он снял телефонную трубку

— Позвоню-ка я районному прокурору, а то как бы ее не выкинули пока заявление дойдет, — говорит он мне.

Но прокурор, выслушав в чем дело, отказался дать санкцию на приостановление выселения.

— Есть ведь закон о двухмесячном сроке? — спрашивает депутат.

Тот отвечает, что закон есть, но его не применяют к семьям арестованных по 58-й статье «кодекса о наказаниях». Семьи «врагов народа» оказываются вне закона.

— У нее двое детей. Куда она денется? Ну дай ей отсрочку хоть на месяц.

Прокурор снова не соглашается. Он советует обратиться в областную прокуратуру, та, если захочет, может продлить срок.

Областного прокурора не оказалось. Мартехов переговорил с его секретарем и просил, как только тот вернется позвонить ему.

Следующий проситель вошел развязной походкой. Он был одет в отлично сшитый костюм. На груди орден.

— Видишь ли, дорогой товарищ, — сказал он после приветствия, — у меня большая неприятность. Я получил квартиру в новом доме, но на четвертом этаже. А жена у меня солидной комплекции и ей тяжело подыматься по лестнице. Лифт может испортиться, знаешь, как часто это бывает. Похлопочи чтобы мне заменили четвертый на второй, или первый этаж.

Советский депутат, имеет полное право отказать просительнице, которую выселяют с детьми на улицу, но отказать партийцу-орденоносцу, жене которого не хочется жить на че-

твертом этаже — нельзя, это не «этично». И депутат пишет в жилищный отдел и управдому.

Когда орденосец уходит, депутат, снова вздохнув, сокрушенно качает головой.

На пороге третий посетитель — маленький старичок, с виду рабочий. Увидев его, депутат вскакивает с кресла и до хруста сжимает плечи утонувшего в его объятиях старичка.

— Кузьмич. Сколько лет, сколько зим мы не виделись! Вот рад видеть тебя...

— Это — мой учитель, — знакомит он нас. — Мы с ним вместе 20 лет на заводе проработали... Он был мастером, когда я только начал работать.

Усадив мастера в кресло, он начал расспрашивать его:

— Жена как твоя поживает? Здорова? А Андрюша как? Орел у тебя сын! Умница и душа-человек! Слышал я, что он отлично кончил Технологический институт. Завидую тебе... Сам я мечтал о таком сыне, а вот у меня все дочки. С ними беда...

Лицо мастера вдруг жалко сморщилось и слезы потекли по желобкам морщин.

— ... Арестован Андрюша... Неизвестно за что... Потому и пришел к тебе... Помоги беде...

Широкая спина депутата откинулась на заскрипевшую спинку кресла. Пораженный он смотрел на своего учителя...

— Все начальство забрали на заводе где Андрюша работал. Потом стали брать, кого попало, и его забрали...

Костлявые плечи старичка задрожали... Почувствовав себя лишней, я простилась с депутатом.

Через некоторое время я встретила с ним на официальном банкете. Улучив минуту, я поинтересовалась, удалось ли ему что-нибудь сделать для сына мастера.

— Выслан на пять лет в Колыму, — уныло ответил депутат. — Я переслал уже третье заявление Кузьмича о пересмотре дела в секретариат НКВД, не знаю, что выйдет...

* * *

Второй, — о котором мне поручили написать очерк, — депутат Верховного Совета СССР, дважды орденосец, заслуженный деятель искусств, Ч. Он перебирает папки с заявлениями, знакомя меня с результатами своей работы.

Опять таки¹ доминируют прошения о пересмотре дел. На прошениях даты: куда и когда копии были пересланы. Но я не видела пометок, какие были¹ получены результаты.

Меня заинтересовало прошение художника С. Этот художник, член союза работников искусств с 1924 года, обращался с просьбой воздействовать на районный Городской совет и жилищный отдел, которые в течение нескольких лет отказывали ему в ордере на квартиру.

Художник, имея семью в 5 человек, ютился в двух комнатах, сырых и темных, выходящих окнами на север. У него не только не было ателье, но даже свободного светлого угла, где он мог бы установить мольберт.

В долголетнюю тяжбу с жилищным отделом был втянут и райсовет, который тоже отказал художнику в помощи.

— Чем же кончилось это дело? — спросила я депутата.

— Я переслал копии от себя лично с запросом в горсовет и районный комитет партии. Из жилищного отдела и городского совета мне ответили, что из-за жилищного кризиса, они ничего сделать не могут. От районного комитета партии я имею такой ответ: — он протянул мне бумажку:

«Дело художника С. нам известно. Но, ввиду того, что гражданин С. в течение ряда лет продолжал писать картины, несозвучные нашей эпохе, и не дал стране ни одного реалистического произведения на советскую тематику, — он был справедливо осужден за это Президиумом Союза Художников. Вместо того, чтобы перестроить свое миросозерцание и стать на путь социалистического творчества, художник С. продолжает, под различными неудовлетворительными предложениями, уклоняться от социалистического соревнования, заданий и работает для своего «личного удовлетворения». Кроме того, он проявил неоднократно недопустимое отношение к молодым художникам, назвав их произведения «халтурными и низкокачественными». Следовательно, вместо поддержки молодых пролетарских талантов, он занимался неправильной, нездоровой критикой, идущей вразрез с социалистическим творчеством. Ввиду всего вышеизложенного, райком партии согласен с действиями райсовета и жилотдела, предоставляющих жилищную площадь в первую очередь нуждающимся пролетарским художникам, выполняющим социальные заказы.

Секретарь райкома Бабайкин».

— Видите сами! — пожал плечами депутат. — Что тут можно сделать?

— Какого вы мнения о работах С.? Считаете ли вы его талантливым художником, или нет? — Задала я, в свою очередь, вопрос ему.

— Первое то, что С. — ученик Репина; у него хорошая школа. У него много хороших картин и портретов, но много и врагов. Врагам есть за что зацепиться: С. в молодости написал портрет жены Николая II-го. Этот портрет с его подписью висит в одной из комнат Александровского дворца в Детском селе. Отсюда вытекает отношение к нему, как к «придворному художнику» со стороны местных властей и... союза...

Остальное было понятно. Художник С. мог бы получить квартиру и ателье, если бы он во-время, как Бродский и другие «переключился» в художники красного Кремля. Теперь участь его была решена, как участь всех людей, работавших тогда над произведениями «несозвучными великой сталинской эпохе».

* * *

Побывала я на приемах и у других депутатов и депутатов Верховного Совета и везде картина была одинакова.

Да могла ли она быть иной? Ведь эти «избранники народа», были «избраны» помимо их воли и были облечены фиктивными правами. Они сами сознавали свое полное бессилие перед «неписаными» законами правительства.

Всеми руководила железная рука режиссера-Сталина. «Гениальный вождь» расставлял их по заранее обдуманному плану и убирал со сцены при первом неточном исполнении их роли.

Судьба «избранников народа» была так же непрочна, как и судьба всех смертных в СССР, где тогда бессмертным являлся только один Сталин. Это знали они, это знал весь советский народ. Мне помнится случай с депутаткой Верховного Совета СССР, трижды орденоноской и заслуженной и перезаслуженной деятельницей сцены, Е. П. Корчагиной-Александровской во время ее выступления перед «избирателями».

Окончив свою речь, она испуганно обернулась к стоявшим рядом с ней на трибуне и спросила:

— Я ничего не наговорила лишнего?

Эта фраза далеко разнеслась через еще не выключенные микрофоны. На лицах появились улыбки. Но раздавшийся кое-где смех, был заглушен дружными аплодисментами публики.

Это было выражение сочувствия старой артистке в ее самой трудной роли, которую ей навязало советское правительство.

Познакомилась я и с депутатками из «знатных доярок», которые по газетным сообщениям, выдоили сверхъестественное количество молока из тощих колхозных коров, за что их и выдвинули в Верховные Советы республик...

— Ну что тебе, родимая, рассказать? — сказала мне одна из них. — Вы, корреспонденты, о нас пишете, все лучше нас знаете, как и что писать надо. Скажу тебе, голубушка, правду: свою фамилию я написать могу, а, по совести сказать, — я малограмотная, что с молоду учила, то позабыла, а теперь голова науку не принимает. Да и времени нет. То туда тянут, то сюда. Выступать везде надо, а говорить не умею. Напишут мне речь, ну выучу ее, да днем перечитаю, чтобы запомнить. Теперь попривыкла уже маленько. Легче стало. А родилась я на Дону. Казачка. Позже сюда приехала, мой муж тутошний. Дон я люблю. Там я родилась, выросла... По началу — плакала, не могла здесь привыкнуть...

И под натиском воспоминаний, депутатка просто, задушевно, рассказывает мне о своей юности и молодых годах.

Теперь в ее рассказе нет того набора слов, который был в произнесенной ею речи, два часа тому назад. Ни «бдительности», ни «кровососов-кулаков» и «подкулачников» — расхитителей народной собственности, ни «раскрепощения» и прочего, без чего не обходится ни одно выступление советских народных представителей.

Сейчас передо мною простая хорошая русская женщина. Но, вспомнив, что ее слушает «корреспондентка», она, резко оборвав воспоминания, говорит деревянно, глядя поверх моей головы:

— Я теперь довольна. Спасибо Сталину за счастливую жизнь.

У многих советских депутатов — двойная жизнь. Я знала одну немолодую, очень религиозную в душе женщину, которую «выбрали» в депутатки. Не имея возможности откло-

нить эту «честь», она ночами замаливала этот «грех» и тайком ходила на исповедь.

Один из депутатов, старый педагог, заболел на нервной почве, когда после закона о платном правоучении в ВУЗ-ах и в старших классах средних школ, ему пришлось расставаться с учениками, которые не могли заплатить за правоучение.

— Мне трудно удержаться, когда я вижу энкаведиста, чтобы не дать ему в морду, — говорил один депутат Верховного Совета.

Понятно, почему некоторые депутаты Верховного Совета так быстро исчезали со сцены. Часть их наверное в ссылке, остальные отправлены на тот свет.

” П Р А В А Ж Е Н Щ И Н Ы “ . .

Ссылных грузили в тупике товарной станции. Из закрытых машин, пошатываясь выходили женщины с тощими мешками и узелочками в руках. Неверной походкой, спотыкаясь о кочки, камни и рельсы, шли они молча за передним конвоером к длинному темному эшелону.

Лица их были серые и застывшие, как маски. В предутренней мгле очи выглядели одинаково страшными и у старых, и у молодых. Машины все подъезжали. Выбрасывали живой груз и торопились за новыми партиями. Тишину ночи разрывало их фыркание, да окрики и брань конвоеров, подгонявших отстававших.

Возле вагонов рокотал бас начальника эшелона. Он отдавал распоряжения и распекал не стесняясь в выражениях. Перед кем ему было стесняться? Уж не перед этими ли безмолвными тенями, отданными на период этапа в его полную власть. Старые или молодые, воровки или жены и матери врагов народа, полуграмотные колхозницы или специалистки с высшим образованием — для него были только стадов рабынь, одинаково низкой ценности.

Вот вздумалось одчай умереть при погрузке... Теперь задержка, пока не придет врач, не установит действительно ли она умерла или только в глубоком обмороке.

Часто и зло он косится на распростертое у колес тело. Пинает его время от времени носком сапога в бок.

— Эй, ты!.. Слышишь!.. Подчмайся!..

Но женщина не шевелится. Остановившийся зрачек тускло смотрит в беззвездное небо. Тело, выпрямляясь, растет на глазах...

Из-за стоящего на соседних путях состава вынырнуло белое пятно. Врач. За ним два санитары с черным ящиком — носилками.

Доктор, осветив карманным фочариком лицо лежащей, чуть коснулся ее руки и скомандовал:

— Кладите!

Тело умершей небрежно опустили на усыпанное известью дно ящика. Сверху плотно легла деревянная крышка. Под-

няв носилки и стараясь шагать в ногу, санитары переступили через рельсы и скрылись в темноте. За ними засеменял врач.

Взоры женщин не отрывались от светящейся отблеском электричества стороны неба. Сердца их были прикованы к городу. Навсегда прощались они взглядом с близкими, родными — с прошлой жизнью... По впалым щекам струились не облегчающие боль слезы... Безысходная скорбь оседала камнем на дно души...

— Эй, поторапливайтесь!.. Не задерживайте!!! — орала стража, тыча кулаками и прикладами в спины.

Слепые от слез женщины ощупью лезли в темный вагонный провал — страшный, как пасть могилы.

— Две... Четыре... Шесть... Восемь... — монотонно отсчитывал один из сопровождавших.

— Почему так медленно?! — зарычал начальник эшелона. — Что это вам, курорт?. Почему не можешь сама влезть? Не симулируй — здесь больных нет! Старая? А контрреволюцию разводить не старая была, сволочь!!!

Следующая за старухой получила от него такой пинок, что влетев в вагон ударилась о стенку и упала.

— Ага! Зашевелились... — позлорадствовал комендант, пропуская ссыльных, а те торопились из последних сил, чтобы избежать издевательства.

— Стоп! — скомандовал начальник. — Остальных в следующий!

Завизжала задвигаясь дверь. Грохнул железный болт за сова. Женщины размещались в темноте, стараясь забиться в углы, подальше от смердящей «параши».

Потом навалилась усталость. Не было сил пошевелить рукой, сбросить ползущего по лицу клопа. А клопы стали падать со стен и потолка, как дождь и жадно впивались в измученные тела.

Шли часы... А, может, минуты, кажущиеся долгими, как вечность... В зловонной духоте уснуть было трудно. Горело от клопных укусов тело. Разрывалась от дум и боли голова. Сжималось, холодело от тоски сердце.

Где-то далеко, беззлобно забрехала собака... Какой домашний, милый звук...

И, вдруг, как бы откликаясь на собачий брех, в стоявшем на соседних путях составе, жалобно замычала корова. Кто-то в вагоне вскочил, наткнувшись на задрезавшую «парашу», потом пополз по телам и добравшись до стены закричал так, что все вздрогнув приподнялись.

— Буренушка моя!!! Родимая!!! Буренушка!!! — и забился головой о доски стены.

— Кто это? Что с ней? — спрашивали женщины.

— Это Петрова. Колхозница. Из нашей камеры, — ответил голоса из темноты.

Петрова, теряя рассудок, старалась проломить стенку, грызла ее зубами. Ее вопли сливались с мычанием «Буренушки», — ее ли или чужой коровы, но тоже оторванной от дома.

В это время прицепленный паровоз сбил, запертых в деревянной коробке, пятьдесят пять живых существ в одну кучу. Свисток отправляющего... Паровозный гудок... Несколько рывков... И под полом, набирая разгон, заработали колеса...

В живой куче несколько голосов надрывно вскрикнуло и куча зарыдала...

Мимо ярко освещенной станции медленно прокатил длинный ряд закрытых наглухо товарных вагонов. Освещены были только первый и последний, пассажирские, в окнах которых промелькнули люди в охранной военной форме. Из темных вагонов доносился горький женский плач. Потом он слился со стуком колес и унесся вдаль с паровозным дымом.

МАСКАРАД МЕРТВЕЦОВ

Еще до обмена нотами с Финляндией, в советской прессе началась обычная «подготовительная кампания».

В «Известиях» появилась статья, «о злейшем враге СССР, поджигателе войны, — маршале Маннергейме, — бывшем царском сатрапе».

Вслед за центральными газетами, на Финляндию исподволь напала и вся пресса.

Тем временем в военных комиссариатах уже шла тайная и спешная работа по призыву запасных некоторых годов в армию.

От границ Финляндии жители переселялись вглубь страны, там рыли окопы, строили блиндажи и ДОТ-ы («долговременные огневые точки»).

Въезд в эти местности разрешался лишь по особым пропускам. На научно-испытательном полигоне, под Ленинградом, шла интенсивная пристрелка новых калибров дальнобойных орудий. Путиловский, Пулковский и Обуховский заводы, а также и ряд других, переключили некоторые цехи на «засекреченную работу» для армии.

ОСОАВИАХИМ проводил «расширенные занятия с населением по противовоздушной обороне». Изучались также ядовитые газы, их применение и защита от них. На заводах была введена обязательная тренировка в противогазах. В городе по районам часто бывали противовоздушные тревоги. Особенно интенсивно военизировались студенты ВУЗ-ов. Учреждения и предприятия Ленинграда, окрестных городов и местечек, были снабжены синими лампочками, для коридоров и подъездов. На окнах навешивались не пропускающие свет шторы. Затем, ночами, потянулись к финской границе длинные эшелоны войск и вооружения.

Но, ни на собраниях, ни на митингах, никто из партийных руководителей не проронил слова «война». Наоборот, проникавшие в народ слухи сразу пресекались ими. Даже пресса, в это время сократила антифинскую пропаганду.

Прошло несколько недель... И вдруг радио, истощно завопило о том, что Финляндия «коварно напала на СССР»,

о «провокационном обстреле финской артиллерией территории СССР», и призывало всех советских граждан, «дать по рукам зарвавшимся финнам».

На утро газеты были переполнены отчетами «об общих собраниях трудящихся», писалось о «возмущении всех советских граждан коварством финнов», и о «горячем желании их идти добровольцами на фронт, за Сталина и за Родину».

Развернув номер любой газеты, можно было видеть заголовки: «Не дадим финской гадине заползти на нашу родную землю». «Студенты лыжники идут добровольцами на фронт». «Домохозяйки готовят подарки фронтовикам». «Студентки просят зачислить их сестрами на фронт»... и т. д.

Затем целая полоса была заполнена письмами на фронт. «Письмо жены — мужу фронтовику». «Письмо сына пионера — отцу танкисту». «Мать пишет сыну летчику»...

В этих, наспех сфабрикованных в редакциях письмах, матери, жены, сестры, дети просили сыновей, братьев, отцов и мужей «не дать грязному финскому сапогу ступить на советскую землю», «итти мужественно за Родину, партию и за вождя» и, в свою очередь, давали клятвенное заверение повысить нормы и качество работы, или учебы. А позже выяснилось, что лейтенант не был женат и не имел сына, и что мать летчика умерла за год до войны. Ведь никто не станет протестовать против советской пропаганды.

* * *

Зарево фронтовых боев, охватившее весь небосклон в стороне Финляндии, было видно в Ленинграде. В ночные часы, когда смолкал дневной шум, доносился глухой гул из орудий.

Город затемнен. Жители, с непривычки, неуверенно шагают по темным улицам, наводящим жуть. На память и ощупью ищут двери магазинов и своих домов. Напряженно прислушиваются не дана ли ночная тревога, но расставленные по улицам репродукторы передают выступление джаза Скомаровского и танцевальную музыку.

Поднявшаяся над городом луна залила улицы неярким светом. Пугающий мрак исчез. Из-за затемненных дверей ресторанов льются звуки танго, доносятся пьяные голоса.

Рестораны полны народом. Хлопают пробки. Льется вино, рыдают скрипки. Поют певицы и певцы. Есть-ли война?

Неужели неподалеку идет бой? Льется кровь? Обрываются молодые жизни? Или темнота, зарево на небе и рокот орудий были лишь кошмарным наваждением?

Выйдя из ресторана видишь, что война есть. Зарево не погасло. И от орудийных выстрелов подрагивают окна.

Перехожу Литейный мост. К Военно-Медицинской академии подъезжают один за другим санитарные автомобили. Люди в белых халатах, вытаскивают носилки. Слышны стоны. На простынях, покрывающих раненых, ржавые пятна крови.

Санитарный автомобиль, пыхтя, отъезжает, чтобы вернуться с новыми жертвами фронта.

* * *

Встретив упорное сопротивление маленькой Финляндии и нарвавшись на финские мины и оборонные укрепления, Красная армия несла тяжелые потери. Советское правительство немедленно приняло все меры, чтобы скрыть эти потери от народа. Раненые привозились в город из полевых лазаретов только ночами. Когда Военно-Медицинская академия и другие военные госпитали были заполнены до отказа, так, что легко раненые лежали в коридорах, — были развернуты еще несколько госпиталей и, кроме того, часть раненых разместили по гражданским больницам — в особых засекреченных отделениях. Весь медицинский персонал был предупрежден, что всякие разговоры об этих пациентах, вне стен лечебницы будут караться, как разглашение военной тайны.

Свидания с близкими не допускались — «по запрещению врачей». Допускались свидания лишь с легко ранеными, в нескольких официальных лазаретах, куда также направлялись все делегации от народа.

Администрация госпиталей давала сведения о смерти раненых военкоматам, а те посылали родным стандартные лаконические уведомления:

«Ваш муж, сын, отец, или брат — пал геройской смертью, в бою за Родину».

И только впоследствии, когда кончилась война, некоторые из жен случайно узнали, что их мужья умерли от ран в больнице, находящейся в двух кварталах от их квартиры.

Кроме раненых, в госпиталя стали поступать в большом числе и обмороженные. Морозы в ту зиму стояли лютые. Заготовленная для фронта теплая одежда, белье, валенки и

полушубки застряли — то ли в тупиках железнодорожных станций, то ли в бюрократических советских учреждениях, — поэтому валеных сапог и полушубков хватало только для начсостава и лишь для незначительной части бойцов. Остальные мерзли в простых сапогах и шинелях. Не хватало даже портянок, они прели на ногах, заскорузлые от грязи, пота и крови с натертых пальцев.

Наркомат обороны приказал срочно отправить на фронт большое количество спирта. Им согревались и «подогревали советский патриотизм», собираясь на штурм устойчивых финских укреплений.

В тылу — сводки от «советского информбюро» о «невиданных в военной истории победах, на всех направлениях фронта». О героических подвигах командиров и бойцов. О финнах, добровольно сдающихся в плен.

В газетах начали печататься длинные списки награжденных. Из Кремля, как из рога изобилия, посыпались ордена.

*

Если Красная армия понесла жестокое поражение, то армия журналистов несомненно выиграла за время войны. Выше непрерывно сыпались заказы на «бодрящую тематику». За патетические оды, очерки и рассказы о «героях фронта» платились большие деньги, а в будущем сулились ордена. Перья писательской «братии», молниеносно летали по бумаге и фантазия развивалась беспределно. Приписывая фантастические подвиги рядовым бойцам и командирам, создавали все новых и новых «героев».

Трогательно изображали на бумаге «братание пленных финнов с советскими бойцами», хотя первых и в глаза не видели. Пространно расписывали «похождения лыжников в тылу у врага», в то время, когда этот отряд, оторвавшись, из-за плохой организации связи от своих частей, был давно в финском плену.

Особенно много места в печати было уделено «славным соколам Сталинской авиации». По сообщениям советских газет каждый летчик сбил от 50 до 150 финских самолетов. Когда мы в редакции, шутки ради, подсчитали весь итог, то получилось, что финская авиация, по количеству самолетов, далеко превзошла всю советскую.

Красный Кремль развивает и поощряет эту газетную ложь, необходимую для поддержания мифа о «непобедимости

СССР», о «безграничной любви и преданности советского народа его вождям и коммунистической партии». Это нужно как для внешней, так и для внутренней пропаганды. Но если удастся обмануть общественное мнение за рубежом, то на русских людей, дурман советской пропаганды давно уже перестал действовать. Пользующийся большой популярностью у народа, артист Леонид Утесов выступил однажды в «Театре Сатиры» (бывший «Аквариум»).

— Мне скучно, — говорила по ходу действия героиня, заслуженная артистка Грановская, — хочется чего-нибудь яркого, не похожего на серую действительность...

— Чего проще, — не задумываясь от себя ответил Утесов, — читайте наши газеты...

Долгий смех и аплодисменты нарушили ход пьесы. Не выдержав улыбнулась и Грановская. Но когда Утесов после спектакля разгримировался, к нему в уборную вошел представитель НКВД и объявил артисту о «правительственной награде за отсебятину»: — три месяца тюремного заключения.

* * *

Как корреспондентка, я проникла в один из засекреченных госпиталей, где лежал дважды герой Советского Союза. Первую «золотую звезду» он получил за участие в Испанской войне. Теперь он был награжден орденом вторично.

— Вы должны непременно добыть от него интересные для нас материалы. Возможно, он расскажет и о подвигах других. Так постарайтесь собрать сведения сразу, для нескольких очерков, — напутствовал меня редактор.

Главный врач предупредил меня о тяжелом состоянии раненого. Дал он мне разрешение на свидание, как было видно, неохотно. Не допустить меня, корреспондентку — к герою он не мог, так как заранее по телефону был извещен о моем приходе редактором. Я же, в свою очередь, тоже не могла отказаться от посещения.

— Не тревожьте его очень разговорами, — попросил он меня, пока я ожидала дежурного врача. — Дайте ему... — и странно поперхнувшись на слове главврач докончил: — отдохнуть... заснуть.

— Вы думаете, доктор, он не выживет?

— Медицина пока еще не всесильна. Увидите сами...

Когда я вошла в палату для привилегированных, где лежал герой, то я поняла, что ни о каком интервью не может быть и речи. Не только часы, но и минуты жизни этого человека были сочтены.

Осколок снаряда, попав в полость живота, развернул ее. Правая рука была ампутирована выше локтя. Кроме того, в нескольких местах были поранены лицо и голова. Рана в живот, по словам доктора, была смертельна и только исключительно крепкое сердце затягивало агонию.

Перед моим приходом раненый получил сильную дозу обезболивающего средства. Он был в сознании. Раньше мне часто приходилось встречаться с ним и он узнал меня сразу.

— Видите, как разделали меня, — скорее прохрипел, чем проговорил он, — вот он... мой конец...

— Ну что вы! Вы еще поправитесь! Доктор говорил мне, что у вас очень крепкое сердце, — попыталась я скривить душой.

Он качнул забинтованной головой.

— Нет... скоро уже... я чувствую сам.

Когда я хотела уйти, раненый слегка сжал, здоровой рукой мою руку.

— Оставайтесь... еще... если не противно.

Доктор кивнул головой. Я осталась. Не стану описывать его страданий — они были ужасны. Умиравший то и дело терял сознание и впадал в мучительный бред, приходя же в себя, не отпускал меня, просил уговорить врача дать ему яд.

Смерть пришла, раньше чем предполагал врач. Раненый слегка приподнялся и сказал внятно:

— Я готов...

Потом глубоко вздохнул и упал на подушки. Это были его последние слова. Последний вздох. Не успела я как следует осознать его смерть, как вокруг уже началась суэта, приготовление к выставке его тела в Центральном Доме Красной армии.

Парикмахер готовил инструменты, для бритья покойного. Грумер подбирал цвета, чтобы скрыть увечья на лице.

Дверь в палату распахнулась и вошли помощник врача с санитаром. Санитар нес, как охапку дров, человеческие руки... Он бросил их с размаху у кровати. Они лежали с растопыренными, или сведенными конвульсиями пальцами. Од-

на, густо заросшая рыжими волосами, поднявшись над остальными, грозила кому-то кулаком. Помощник врача, перебирал их, примеряя к ампутированной части руки героя.

Почувствовав, что теряю сознание, я ощупью найдя дверь, вышла из палаты.

Больше я не видела покойного и не была на его пышных похоронах. Но видела несколько снимков, сделанных нашим фото-репортером. Герой лежал в гробу, загримированный и покрытый цветами. Мне сразу бросилась в глаза, разница сложенных на груди рук. Она была видна в форме пальцев, ногтей и даже в размере кисти.

В угоду общей прикраски советской реальности, человека похоронили с чужой рукой.

Редактор был очень недоволен тем, что я не «постаралась получить от умершего героя, материала для очерка». Он все же потребовал чтобы «очерк был» и туда должно было войти «предсмертное интервью героя».

Меня выручил один из сотрудников редакции, взявший этот очерк на себя. Через два часа он был им написан. Вслед за подвигами героя описывалась его смерть. Покойный, по утверждению очеркиста, умирал со словами:

— Передайте командирам и бойцам моей части, что я завещаю им еще мужественнее бить и гнать финнов. Скажите им что я счастлив, умирая за нашу социалистическую родину, за нашего отца и друга Иосифа Виссарионовича, за дело Ленина-Сталина... Да здравствует великий Ста... — воскликнул герой, но смерть помешала ему докончить. На губах у умершего застыла улыбка. Так умирают люди, отдавшие кровь за партию, за вождя и за свой народ, — заканчивал очеркист.

— Видите, как надо уметь писать — сказал мне удовлетворенный редактор. — Вы растерялись, а товарищ М... знал и чувствовал, что бы сказал герой Советского Союза, если бы он мог говорить. Учитесь. А то у вас еще много предрассудков... А газетной хватки, чутья не хватает. Запомните, что для журналиста это основное!

”ОСВОБОЖДЕНИЕ“ ФИННОВ

Спустя месяц после начала Советско-финской войны, советские газеты и радио затрубили о финской народной армии, созданной из перебежчиков и «освобожденных» финнов. Действительно, в Ленинграде и окрестностях появились в большинстве немолодые солдаты, одетые в незнакомую форму и меховые шапки.

Некоторые финские части передвигались на подводах, запряженных низкорослыми заморенными клячами. Лишенные зрелищ советские граждане обступали их и с любопытством созерцали финнов, которые смущались и исподлобья, недружелюбно поглядывали на зрителей.

Увидев в сумке у пожилой женщины белый хлеб, финн, оглянувшись по сторонам, быстро подошел к ней:

— Мамаша, где тут продают эти булки?

От неожиданности старушка даже присела.

— Родимый! Говоришь по-нашему? Откуда вы?

— Всякие у нас есть. Я из Орши. А есть из Волосова. из Пскова. А больше всего из под Минска. Мы-то сами только по-русскому и говорим, а вот по-финскому и не понимаем. Да вот, наши командиры не велят ни с кем разговаривать...

Увидев появившегося командира, «финн» быстро отошел к повозке и стал поправлять сбрую.

— Разойдитесь граждане! Что вы их обступили! Финнов не видели! — отгонял народ лейтенант.

— Интересно! — крикнул из подавшейся назад толпы подвыпивший рабочий. — Про финские мины мы слышали, а вот про минских финнов отродясь не слышали. Здорово закручено! Ай да финны!!

Его предостерегающе дергали за рукав. Люди, пряча сочувствующие улыбки, боязливо отходили от него. А он продолжал свой путь, посмеиваясь и разговаривая сам с собой. И я заметила, что в нескольких шагах, за ним двигалась как тень фигура человека в темном пальто и кепи. Мягко неслышно ступали высокие сапоги, а поднятый воротник закрывал военную гимнастерку с малиновыми петлицами.

Когда советские войска, после жестокой бомбардировки, ворвались в Выборг — город был пуст. В нем не осталось ни

одного коренного финна. Население ушло вглубь страны, взяв с собою ценное и необходимое.

Вслед за передовыми частями, мчались к Выборгу караваны легковых и грузовых машин НКВД для «освобождения города от излишней роскоши», которую не следовало показывать рядовым советским бойцам и гражданам, чтобы не смущать их преданные советской власти души. За ними появились машины партийных и военных руководителей, вывозивших «остатки».

На улицах Москвы и Ленинграда замелькали люди, одетые в добротные финские материалы. Жены «ответственных работников» хвастались, показывая друг другу эlegantные костюмы, платья, обувь, хорошее белье, чулки и прочие принадлежности дамского туалета. «Это — финское».

Когда простые смертные стали попадать в Выборг, он уже был опустошен на 90 %, но даже и остатки бывшего богатства и комфорта поражали неизбалованный советский народ. Каждый хотел привезти домой что-нибудь «финское», ибо отечественные хорошие вещи, продававшиеся в магазинах «люкс» и в комиссионных магазинах, были недоступны по цене, а «ширпотреб» выпускал дрянь, в большинстве бракованные вещи. И люди стояли в очередях у магазинов, куда был свезен оставшийся финский скарб, покупали подержанные финские вещи, посуду и даже почтовую бумагу и конверты.

Те у кого не было денег, искали уцелевшие вещи, с риском для жизни, в разбитых бомбами домах, стараясь, чтобы их не заметила милиция.

Мне однажды пришлось наблюдать такой случай.

У рухнувшего дома грузовичек и два гражданина, как видно — рабочие. Нижний этаж уже давно опустошен, а в верхнем еще кое-что уцелело. Люди смотрят с вождением на заманчивые вещи и с опаской — на грозящие обвалом потолки и крышу.

Один пробует вскарабкаться по развалинам, но взглянув вверх, ползет обратно.

— Хоть видит око, да страх берет? — кричит другой и достает из кабинки литровку с водкой и стакан. Выпив одним духом, он наливает другой и подает приятелю. Закурив, они храбро шагают к дому и с обезьяньей ловкостью взбираются наверх.

Через несколько минут они уже спускаются обратно. У одного в руках детская коляска, у другого — никелированный чайник и электрический утюг. Но не успевают они ступить на землю, как попадают в объятия двух милиционеров.

— Расхитители советского имущества! Сволочи! Идем в милицию!

Никакие просьбы и уговоры не помогают. Один из милиционеров ведет «преступников, пойманных с поличным», другой остается у машины, записывает номер.

Пройдя несколько шагов, я оглянулась: блюститель порядка, вытирая одной рукой губы, другой торопливо засовывал в карман бутылку с недопитой водкой.

— Чем объяснить, что финны, бросив все имущество, ушли на ту сторону! — спросила я знакомого офицера, награжденного за финскую кампанию званием Героя Советского Союза. — Хорошей финской пропагандой?

— Пропандой? — задумчиво переспросил он. — Да, пожалуй. У финнов замечательная пропаганда. Если у вас есть время, поедете ко мне, за Терриоки, я покажу вам ее.

Автомобиль мчит нас по следам недавней войны, мимо неглубоких, залитых водою траншей.

— Наши окопы, — указывает головой на них мой спутник. — В них наши бойцы просидели несколько недель перед войной, ожидая приказа о наступлении.

Его лицо сразу стареет от морщин между бровей и у рта. Он прибавляет скорость. Руки крепко впииваются в руль. Быстрой ездой он видно старается заглушить скрытую боль.

Воронки, воронки, воронки всех размеров. Деревья, вырванные с корнем. Остатки разбитых машин. Сгоревшие дома. Ряды железобетонных блиндажей.

— Финское, — бросает зубы офицер.

Через час он тормозит машину у небольшого домика финского селения. Открывает ключом дверь. Кухня. Выкрашенные масляной краской стены блестят. Кафельные разноцветные плитки составляют приятный рисунок. В шкафу — фаянсовая и фарфоровая посуда, на полках никелированные кастрюли, чайники — все блестит.

Рядом с плитой — электрическая плитка. Стол покрыт полотняной, туго накрахмаленной скатертью, поверх нее разостлана русская газета.

— Чтобы не пачкать скатерть, — заметив мой взгляд, смущенно улыбается офицер.

В доме четыре комнаты, из них три — спальни. Первая — девичья. Когда-то такие спальни, с цветистым кретоном штор и обивки, были и в России, но теперь описания их попадают лишь в старых романах... На туалетном столике несколько фотографий школьницы в овальных рамках. Бывшей ли обитательницы комнаты? Ее ли подруги?

Вторая — спальня семейная. Две широких кровати. На них мягкий пух подушек и перин. Чистое тонкое белье. У кровати коврики, в которых приятно тонет нога. В зеркальном шкафу еще висит одежда.

Третья, где раньше, повидимому, спал сын хозяев, сейчас занята моим знакомым.

Переходим в четвертую комнату. Глубокий диван, такие же кресла. Книжный шкаф. На круглом столе — ваза с засохшим букетом. На другом — книга, рядом — футляр от очек и женский платочек из газа.

Офицер протягивает мне альбом. На первом листе годовалый бутуз тянет мне пухлые ручки. Растрепанный светлый хохолок делает его мордочку задорной.

Большинство снимков любительские. Молодая девушка, чей школьный портрет я видела в спальне, в спортивном костюме у мотоциклета. Дальше, она же доит корову. Она же в белом платье причастницы.

Хозяин с трубкою в зубах подрезывает деревья. Хозяйка с новорожденным телянком на руках. Вся семья за столом. Сын и мать в двухколесном экипаже, ее губы морщит счастливая улыбка, над лбом юноши вихрится светлый хохолок...

Я закрываю альбом, страницы которого мне показали жизнь семьи. Жизнь полную труда и счастья.

Мы молчим. Тяжело говорить в этом домике. На ковре лежит трубка хозяина, — она сломана. Сломана, как вся жизнь.

— Вот вам финская пропаганда, — нарушает молчание хриплый, какой-то сдавленный голос офицера.

— А вот и наша...

Он включает радиоприемник.

«...Благодарное финское население, освобожденной территории, шлет горячий привет героической Красной армии. Вливаясь в нашу семью, многомиллионную семью братских народов, освобожденная от рабских цепей капиталистического ига, эта часть Финляндии становится теперь, такой же сво-

бодной и счастливой, как и мы. Благодаря мудрому руководству . . .»

Радио выключено. Наступившую тишину разрезает длинное циническое русское ругательство.

— Простите! — тем же сдавленным голосом говорит офицер. — Сорвалось нечаянно . . . Трудно выдержать. Как больно, как тяжело чувствовать себя бессловесной пешкой, которую двигает железная рука для своих жестоких комбинаций. Комбинаций, которые противны нам по духу, которые унижают весь наш народ . . .

— И это говорите вы — Герой Советского Союза? — невольно возразила я.

— Да я! — Он повернул ко мне бледное, старообразное лицо. — Да я, которого наградили, потому, что нужно же кого-нибудь награждать, создавать героев, чтобы шумихой прикрыть наш позор, наши потери. Сегодня устанавливают мой бюст в Доме Советов в Москве, а завтра, если узнают, что эти побрякушки (он указал на ордена) не затмили моей совести, то меня, так же поставят, как и других, к позорному столбу. Финны знали, за что они так мужественно дрались, — за свою жизнь, за славу Финляндии, за свою самостоятельность. А мы? За те «шесть даров Сталина», которые он нам дал? За

Лунное освещение,
Солнечное отопление,
Воздушное одеяние,
Заочное питание,
Всеобщее ликование,
И гробовое молчание.

.....

Мы едем обратно. Лунный свет заливал угрюмую финскую землю. Блестят лужи. Вода ли это, или еще не впитавшаяся кровь? В лесных просеках еще лежат штабеля сложенных трупов непогребенных бойцов.

Но это там, в глубине лесов, далеко от дорог. О них знают лишь те, кому дано знать. Но не близкие и не народ. Народ должен ликовать. Ликуйте жены, матери и осиротевшие дети! Ведь ваши мужья, сыновья и отцы погибли за славу «мудрейшего из мудрых»! Пусть их десятки тысяч. Пусть они лежат непогребенные. Это неважно. Гробовое молчание охраняет их . . .

ЗИГЗАГ "ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ"

В этот день часть сотрудников разъехались по заводам: организовывать горячие пожелания рабочих и инженерно-технического персонала о выпуске нового «займа для укрепления обороны СССР». Остальные готовили материал к очередному номеру.

В этот период большая часть материала была антигерманской. Один из сотрудников корпел над статьей «О зверствах нацизма».

«Готовясь к захватнической войне, — писал он, — выродок и садист Гитлер держит весь немецкий народ в жутком голоде. Немецкие хозяйки теперь не получают даже прежних жалких крох масла, а только маргарин. Все пищевые продукты заменены суррогатами. Вместо хлеба в Германии изобретен новый «эрзац», от которого начались эпидемии желудочных заболеваний и невиданно повысился процент детской смертности. Мясо и масло едят только толстомордые «наци». Несчастный немецкий народ не смеет даже мечтать об избавлении от этой неслыханной тирании. И взоры его с завистью обращаются в сторону нашей свободной страны, где слово «человек» звучит гордо»...

Карикатурист был углублен в рисунок, где Гитлер изображался на невероятно тонких ногах, но с огромным животом и с акульей челюстью. Его длинные руки тянулись в сторону малых славянских народов.

Фельетонист писал о создании гитлеровской гвардии.

Машинистки перепечатывали переводы статей Леона Фейхтвангера.

Работа кипела. Вдруг у входа послышался громкий голос сотрудника, вернувшегося из поездки. Этот молодой, очень способный очеркист и хороший карикатурист был любим всеми за веселый нрав и отзывчивость. Но ответственный редактор и зав-партийного отдела не доверяли ему и редко поручали «ответственные задачи». Впрочем, он и сам за ними не гнался.

Поздоровавшись, В. заглянул в блокноты сотрудников. Глаза его заодно блеснули. Посмотрев на рисунок карикатуриста, он присел к столу и быстро нарисовал поразительные по сходству головы Чемберлена и Лебрена. Вырезав

их из бумаги, он положил головы на стол карикатуриста, выводящего под рисунком надпись: «Анула — агрессор».

— Зачем это мне? — удивился тот.

— Пригодятся. Они как раз подойдут к этой шее.

В. указал пальцем на Гитлера.

— Дорогие товарищи, — обратился он к нам, присев на край стола. — Зачем так нападать на Гитлера? Я хотя вполне согласен, что он сволочь, как пишет уважаемый С., но дела вести с ним можно. И... даже начать дружбу.

— Только сволочь может подружиться с такой сволочью, — прервал фельетонист.

— Вы так думаете? Запомним, запомним... Это очень остроумно, очень кстати...

— Вы что? Хватили сегодня лишнего? — многозначительно сказал кто-то из сотрудников...

— Хватить, конечно хватил, но не «лишнего»! И вот, у меня появился дар ясновидения. Я тоже написал статью о нацизме.

Он вынул из кармана статью и помахал ею в воздухе.

— Смотри дошутись! — сказал ему кто-то.

Но В. не унимался.

— Держу пари, что наш достопочтенный редактор сегодня, хоть раз в жизни, будет доволен мной. А я — им. Кстати, где его брешное тело и бессмертная голова?

— В обкоме. Срочно вызвали, — сказал карикатурист.

— Ага! Подождем. Напишем в утешение ему еще одну статью.

И В. уселся за стол.

Пожав плечами все уткнулись в прерванную работу.

Вернувшись, редактор торжественно объявил:

— Товарищи. Прошу всех сейчас же ко мне на экстренное совещание!

Через пять минут все мы знали, что весь антигитлеровский материал снимается. В. оказался прав: его статья так понравилась редактору, что тот даже забыл с обычной своей подозрительностью спросить: «Откуда это пришло вам в голову?»

— Как вы узнали об этом? — обступили В. сотрудники, выйдя от редактора.

— Немецкое радио еще утром объявило о заключении советско-германского пакта. Нам, вероятно, сообщат об этом «согласно директиве» завтра «в последних известиях».

Но уже с утра вся печать должна переменить тон. Вот и наш редактор, получив от обкома инструкции, потеет над новой передовицей. Что? Занятный трюк?

— Позвольте. А если Германия начнет войну. Кого же мы будем считать агрессором? — сокрушенно спрашивал карикатурист.

— Не волнуйтесь! — успокоил его В. — Потому-то я и нарисовал вам две головы. Приставьте к рисунку голову Чемберлена, или Лебрена — вот и все. Несообразительный вы человек.

Таким образом, о длительных переговорах Кремля с Гитлером подсоветский народ узнал последним, когда договор был совершившимся фактом. Явившись для всех (кроме Кремля) полной неожиданностью, этот «дружественный пакт» вызвал у многих, даже у видных партийцев, тяжелое чувство.

Небезинтересен маленький факт: вернувшись из Берлина, Молотов отправился прямо на квартиру Сталина. Они беседовали наедине несколько часов. Узнав об этом некоторые члены Политбюро, в том числе и Жданов, ворчали. По их мнению, Молотов, вернувшись из командировки, должен был, прежде всего, дать о ней отчет на заседании Политбюро, а затем уже «вести частные беседы».

Сталин, видно крепко запомнил «частные беседы», — ему, конечно, было доложено об инциденте. Проронивший неосторожное слово за него поплатился «во благовремении».

Что бы ни переживали в душе подсоветские народы, депутаты Верховного Совета и члены Совнаркома, все должны были подчиняться «генеральной линии» и вождю. Кто мог протестовать, когда начатую Гитлером в 1939 году войну, Сталин назвал «справедливой». «Агрессорами» он объявил «старых поджигателей войны»: Чемберлена, Черчилля, Лебрена, Даладье.

«Гитлер, — объясняли народу пропагандисты, — хочет только исправить несправедливость Версальского договора»...

А советское радио и газеты объявили советским гражданам: «Правительство сочло себя обязанным ввести советские войска на территорию Польши для защиты и освобождения единокровных братьев украинцев и белоруссов от польского ига».

После разгрома и раздела Польши, симбиоз серпа и молота с фашистской свастикой стал еще явственней.

Риббентроп был принят самим Сталиным. На торжественном завтраке в честь гостя, Сталин произнес спич за процветание Германии, за германско-советскую дружбу и поднял бокал за Гитлера.

В день рождения советского диктатора «Правда» поместила на первой странице текст поздравительной телеграммы Риббентропа, а ниже ответную телеграмму Сталина.

«Благодарю вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов Германии и СССР, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. И. Сталин». Если под словами «скрепленная кровью» Сталин подразумевал кровь жертв этих двух родственных режимов, то он действительно мог надеяться на длительную и прочную дружбу.

Подсоветские народы, ощущавшие в 1939 году острую нехватку продуктов, наблюдали за спешной погрузкой продовольствия для фашистской Германии; за эшелонами, нагруженными военным снаряжением для «справедливого» агрессора; за поездами, составленными из международных вагонов, привозившими в СССР германских ученых, журналистов, военных и общественных деятелей для укрепления «культурной связи» между двумя странами.

А за кулисами, тайком выполнялся один из неоглашенных пунктов договора: к границам Эстонии, Латвии и Литвы снова катились эшелоны войск, как недавно к Финляндии. Шли колонны тяжелых танков, артиллерийских орудий и бронированных автомобилей. В небе гудели летящие к Прибалтике эскадрильи...

Так же стягивались войска и к румынской границе.

Еще за несколько недель до «присоединения» к СССР Прибалтики и Бессарабии, были выпущены новые географические карты Советского Союза. На них уже не было границ с Прибалтикой и Румынией. Эти страны, как и зароеванная часть Финляндии, были выкрашены в тот же красный цвет, что и вся подсоветская земля.

По этому поводу получился очередной конфуз: приехавшие в СССР румынские писатели увидели одну из этих карт в «Доме Писателей». Они выразили изумление: каким образом Румыния включена в СССР. Им поспешили объявить, что «это ошибка типографии». Карта была немедленно заменена старой,

Было ли это «ошибкой типографии, или Советы просчитались в своих планах относительно Румынии — так и осталось загадкой.

После договора с Гитлером, подсоветские народы навсегда утратили способность удивляться политике своих вождей. Поэтому сообщение о том, что «советское правительство решило удовлетворить просьбу Эстонии, Латвии и Литвы о включении их в Союз Советских Социалистических Республик», было встречено равнодушно. Все были довольны, что обошлось без новой войны.

ТАСС был перегружен «опровержениями»: он опровергал «гнусные измышления агентства Рейтер» и «американской продажной прессы» о том, что из бывшей Прибалтики и Польши народ вывозится за Урал, а так же сообщение одной «грязной, бульварной Скандинавской газеты» (какой страны — не было указано), которая сообщила, что СССР разрешил германцам перебросить войска и снаряжение в Норвегию через оккупированную часть Финляндии.

Начальники станций, отправив очередной поезд, читали в перерыве эти опровержения, но взглянув на часы откладывали газету и шли пропускать шедшие вне расписания эшелоны, которые передавались от станции к станции и шли в неизвестном направлении с неизвестным «правительственным грузом»...

В ГОРНИЛЕ ФРОНТА

Почти сутки наши части сдерживали массированное наступление противника. Из штаба фронта был получен приказ: «Удерживать позиции пока не подойдет подкрепление».

Держимся, несмотря на ураганный огонь немецкой артиллерии, штурм с воздуха и огромные потери.

Наши артиллеристы, скинув пропитанные потом гимнастерки, без отдыха заряжают перегревшиеся орудия, меняя нащупанные врагом позиции. Меняя ленты и диски, непрерывно строчат пулеметчики, не давая приблизиться немецкой пехоте.

Под перекрестным огнем ползают связисты, восстанавливая поврежденную сеть полевых телефонов.

Дрожит земля! Воет, грохочет воздух... Падают скошенные снарядами деревья.

Мне кажется, этому бою не будет конца... В горле першит от жажды, гари и набившегося песка: он трещит на зубах и противно налипает на пересохший язык. В голове гул. Глаза щемят и слезятся...

Когда оседает густая пыль, вижу воронку на месте, где стоял штабной автомобиль. Одно из его оторванных колес крутится по траве, как пущенная щелчком монета.

— Ишь-ты, — кричит лежащий рядом со мной бородастый боец.

Но голос его чуть доносится до меня. Я не знаю к чему относится его возглас — к колесу или к мощи разрыва, но киваю в ответ.

Поднимаюсь и, прислонясь, пытаюсь открыть полевую фляжку, чтобы выполоскать изо рта песок... Сильная рука толкает меня и я снова лечу на землю...

Визжат, разрезая воздух, бомбы... Горячая волна пронеслась над нами, покатила дальше...

Я вижу у моего лица широко открытый рот соседа, его борода щекочет мне шею, но крик его теряется в крикании разрывов. Он продолжает что-то кричать, потом тычет пальцем в мой бинокль и указывает на небо. Навожу бинокль и вижу — распластавшись в прозрачной сичеве, плывет соединение бомбардировщиков, вокруг серебрятся «ястребки».

— Наши!... — кричу я соседу.

Но бородач с сомнением качает головой. Ведь за долгое время боев мы еще не видели на фронте наших бомбардировщиков, но кружащиеся над ними «Генкели» уже набирают высоту, сбрасывая куда попало остатки бомб. Поднимая дымовые столбы, грохнули на линии противника мощные разрывы. Дрогнув, заплясала земля.

Бомбят крепко. Бородатый боец показывает крепкие, белые зубы и кивает в такт бомбежки головой.

Теперь бьют только зенитки. Немецкая артиллерия смолкла. Часть «ястребков» погналась за поднявшимися «Генкелями». Те, повернув, приняли бой.

Стая клубящихся самолетов напоминает игру ласточек. Два «ястребка», отбив от других «Генкеля», клюют его, пока тот не превращается в дымовое облако. Но вслед за ним, кувыркаясь в воздухе, падает и «ястребок». Второй, как видно тоже подбитый, старается выровняться и спланировать на посадку. На месте, где были самолеты, вижу две белые точки. Они увеличиваются, приближаясь к земле. Но нельзя разобрать, кто болтается на стропилах парашютов — наши ли или чужие летчики.

Серебристый рой отделяется. Гул его заглушен ревом выскочивших из просеки танков. Возможно, это и есть обещанное подкрепление. «КВ», сделав разворот, пошли на врага. Немцы, слабо отстреливаясь, стали спешно отходить.

Но ожидаемой команды о наступлении почему-то не последовало: пехота продолжала лежать. Израсходовав боеприпасы и отогнав немцев, танкисты вынуждены были вернуться к исходным позициям. Проезжая мимо командного пункта, они хором обругали стоящее там начальство и покатали восвояси.

С окончанием боя наступила резкая, почти страшная тишина. Но в ушах еще стоял гул и быстро пульсировала разгоряченная боем кровь.

Постепенно становились слышны стоны. Вокруг вырытых снарядами и бомбами воронок, вперемешку с частями разорванных тел корчились те, чьи жизни исчислялись минутами. Одни, царапая и грызя землю, уходили в другой мир, молча, другие, требуя помощи, надрывно звали санитаров. Санитаров мало: их много погибло вместе с санитарной частью во время налета, а другие, сами израненные, молят о помощи.

Стоны раненых чередуются с проклятиями и бранью. В этих похожих на звериный вой, прерываемых предсмертной икотой, ругательствах — боль и нечеловеческая тоска. Через трупы ползут легко раненые. Задерживаясь около умирающего они отдают ему последний глоток из своей фляжки и, зачастую, обессилев, валятся тут же.

Группы уцелевших бойцов, копаются в этом кровоточащем месиве, опознавая убитых и неумело перевязывая бинтами «индивидуальных пакетов» раны живым. Проводя светлые борозды, по их закопченным лицам, скатываются порой скупые, но жгучие солдатские слезы. С сурово сжатых губ срываются брань и угрозы. То ли немцам, то ли своему командованию, то ли голубому и такому равнодушному небу!?!

— Ишь-ты!!! Понакрошили народу-то сколько!! — вздыхает не отходящий от меня ни на шаг бородатый боец. — Война, дочка, любит нашего брата, пуще чем баба. Глянь-ка энтот еще живой! А ну-ка, сынок, повернись. Дай-ка я достану твой бинт. Мы сейчас, с дочкой, заткнем тебе дыру. Терпи парнишна. Коль в другом бою пуля минет тебя, по войне плясать еще будешь.

Рядом стоит на коленях, нагнувшись к смертельно раненому, молодой солдат — видно брат или товарищ. Он упорно старается втиснуть в его развороченный осколком живот кольца голубых уже покрывшихся пылью кишек и стянуть рану бинтами. От напряжения его лицо покрылось крупными каплями пота, а на закушенной губе показалась кровь, но внутренности скользят в руках и вываливаются снова.

— Ой, не мучь! Добей! Ох, добей, Христа ради! Пожалей меня, браток, Богом прошу! Все равно конец мне... Прикончи меня!.. — хрипит умирающий.

Убедившись в бесплодности своих попыток, боец берет из руки убитого сержанта револьвер и приставляет его к груди раненого. Он стреляет не глядя на товарища, пальцы прыгают нажимая спуск.

Перепрыгивая через тела и воронки к нему кидается молодой политрук.

— Кого пристрелил? — кричит и на бегу растегивает кобуру. — Ты это, что... Кто разрешил, — накидывается он на бойца

— Отстаньте товарищи, — отмахивается он от вступившихся за того. — Я знаю, что делаю. Может, тут как раз были другие, политические причины. Месть или еще худшее.

Во всем этом разберется трибунал. Пойдем со мной в политотдел, — приказывает он бойцу.

Серое лицо бойца сжимается в комок. В суженных глазах острая, как нож ненависть.

— Не тебе меня судить, гад ползучий, — говорит он тихо, но раздельно. — Я Богу за него отвечу. А на тебя и твой трибунал — я плюю! Понял? На, получай... А теперь стреляй, сука. Ну, — разрывая гимнастерку наступал на политрука боец. — Боишься, сволочь. Или не хочешь сразу. Помучать еще думаете. Нет, не удастся вам, гады, это сделать. Я сам... — и не успел политрук опомниться, как самоубийца свалился на труп друга.

— Уйди-ка ты отсель поскорей гнида красная, — поднял с земли голову раненый красноармеец. — Не хочу о тебя перед смертью руки марать: в жисть мокрым делом не занимался, а теперь рука зудит пришить тебя, недоноска проклятого. Смывайся, говорю, пока цал... А то не выдержу, кокну тебя...

Пятясь, политрук стал отступать, стараясь не запнуться о лежащих.

— Застрелил бы прежде его, а потом себя, — вздохнув сказал один из бойцов и нагнувшись закрыл мертвому глаза.

— Видать побоялся, что патрона не хватит, а может не хотел брать на душу греха, — и сквозь зубы добавил: — Все одно, этому не долго жить осталось...



Мы возвращаемся к месту расположения штаба. Вокруг со свежими катушками суетятся телефонисты, прокладывая новые провода. В течи деревьев командование принимает донесения и производит приблизительный учет потерь. Они тяжелы: выбыло до 40 процентов людского состава...

Комиссары с заместителями отмечают по спискам, кого надо выдвинуть в герои. Политруки помельче готовятся к очередным выступлениям на очередных собраниях частей, на которых они должны поддержать политико-моральное состояние красноармейцев и повысить их боевой дух.

Заложив руки за спину, медленно идет начальник Третьего (Особого) Отдела. Его взгляд из под нависших век ощупывает лица командиров и бойцов, а ухо привычно чутко ловит обрывки фраз...



— Что? Не пишется?

От неожиданности я вздрагиваю, поднимаю голову. Передо мною стоит молодой летчик Н. В его серых прямых глазах сочувствие и чуть-чуть ирония.

— Описываете наши подвиги, — продолжает он, растягиваясь на траве, рядом и закуривая.

— Пытаюсь — да плохо выходит...

— Конечно, плохо, — соглашается он. — Это потому, что все у нас плохо. Вот у меня сгорел уже пятый «гроб» — летать не на чем и я позорно приземлился на неопределенный срок. А вы должны писать только о сблтых немецких самолетах, когда мы сбиваем два, а теряем десять.

— У вас хандра. Это от непривычки к земле. Пройдет, — пошутила я.

— Нет. Не пройдет, — упрямо возразил летчик. — И вы сами знаете, чувствуете это. Ведь я наблюдаю за вами давно и уверен, что все происходящее для вас так же тяжело, как и для меня. Правда?

— Правда, — согласилась я.

— Читали, вот это? — Н. хлопнул ладонью по стопке только-что полученных газет. В них сообщалось о сформированных польских частях. — Что вы думаете об этом?

— То же, что и вы. Для пленных поляков — это счастье.

— Не для всех, — горько усмехнулся он. — Кстати помните, вы меня еще в К. спрашивали, почему мы с Виктором больше не друзья. Тогда я уклонился от ответа. Теперь узнав вас получше, могу, если хотите, рассказать, как оборвалась наша многолетняя дружба...

— Расскажите, — попросила я. — Раньше я не настаивала подозревая, что замешалась женщина...

— Нет, — оборвал меня Н.... — Женщина никогда не смогла бы рассорить нас, ведь мы вместе выросли, многие считали нас братьями. Дело гораздо серьезнее. У нас на аэродроме работала группа пленных польских офицеров. Они считались не только пленными, но и политически вредными, поэтому их везде сопровождал конвой из бойцов НКВД и всякое общение и разговоры с ними были запрещены. После указа правительства об освобождении всех пленных поляков и создании польской армии, эта группа все еще находилась под стражей. Однажды наш комиссар сообщил им, при всех, что сегодня они работают последний день, а завтра будут осво-

бождены и уйдут в польские части. После работы, под предлогом, что конвой идет ужинать, их отвели в старый, пустой склад за аэродромом, дали им хлеба, консервов и еще какой-то еды и заперли их там. В этот день было спокойно, тревог не было. И вдруг мы услышали близкие разрывы бомб. Все выскочили из помещений, но нигде не было видно и признака той паники, которая бывает обычно при внезапных налетах. Только в облаках слышался шум мотора, уходящего самолета, но не похожий на немецкий по звуку, а скорей на наш, да над лесом, где был старый склад, клубился дым... Все зенитки почему то молчали. И только, примерно, через пять минут была дана тревога по аэродрому. Длилась она тоже минут пять. После отбоя нам было объявлено, что германский пикировщик, подлетев незаметно, сбросил несколько бомб, которые попали в склад, где были заперты польские офицеры. Прибыл начальник Районного НКВД и вместе с нашим начальником Особого Отдела и комиссаром поехал туда. Когда открыли склад, подававших признаки жизни было только двое, но и те были в безнадежном состоянии. Остальные — либо убиты, либо сгорели. Выскочить они не могли: склад был каменный, двери железные, окошки маленькие — у потолка, да еще с решетками. А в складе была сложена солома, для набивки матрацев и кто-то поставил туда еще несколько бачков с бензином, который тоже взорвался. Нас, помню, тогда очень удивило, как немца угораздило налететь на этот склад: он был небольшой, и незаметный из-за деревьев, ведь неподалеку были объекты гораздо заметней и важней. Виктора в то время не было дома: он вылетел после обеда по заданию командования. Вернулся он позже и в тот же вечер сильно напился. Может быть, трезвый он не рассказал бы мне, как вызвал его комиссар. В кабинете был и начальник Особого Отдела. И Виктору был дан в порядке партийной дисциплины приказ (особо секретный): он должен был сделать вид, как будто вылетает в Г-ну. Основное задание было: подлетев незаметно к аэродрому, спикировать и разбомбить склад, где были поляки, так как они считались «социально опасными». Виктор это «задание» выполнил «отлично» и вскоре награжден был орденом. А ведь он бы мог «промазать» — сбросить бомбы рядом с целью. «Испугался ответственности», — сознался он мне. Я ему, пьяному, ничего не сказал. Но на утро, когда он протрезвился, высказал все, что думал и... наша дружба кончилась... Мне было бы легче, если бы он вместо выпол-

нения приказа застрелился, тогда осталась бы навсегда добрая память о нем, а так... — он махнул рукой и отвернулся, стараясь побороть волнение.

Мы лежим рядом и молча смотрим туда, где уже кружатся стаями вороны. Там за лесом полегли те, с кем крепко сдружилась фронтовая жизнь. Они лежат непогребенные, брошенные на добычу этим пернатым хищникам. И вороны выключают никем не закрытые мертвые глаза, в которых застыли тоска и страшный укор... Может быть, завтра один из этих воронов будет клевать меня... Что ж. Смотреть на то, что творится кругом, пожалуй, не легче...

— Мне двадцать шесть лет, — точно угадав мои мысли говорит Н., — но жизнь мне кажется страшнее смерти...

— Мне тоже, — отвечаю я.

И мы снова молчим. Но в душе у нас одна и та же боль... В усталом мозгу клубятся одни и те же тяжелые думы...

И листья перебираемые ветром нашептывают мне, слышанную в детстве полузабытую песенку. Так неожиданно и странно вспомнить ее теперь, лежа на жесткой, растрескавшейся от зноя земле, опоясанной заревом фронтовых зарниц...

Детство... Дом... Родные, любимые лица... Все это ушло куда-то далеко, в невозвратимое. Остались только вот эти простые слова детской песенки... Нужны ли они теперь? Не лучше ли позабыть и их?

Натянув на голову шинель, закуриваю.

— Дай-кошь, дочка, и мне прикурить.

Во тьме я еле различаю ладони могучих рук со спрятанной в них «самокруткой».

— Хотите папироску? — спрашиваю я, протягивая так же скрытый в руках огонек.

— Мы к ним непривыкли. Покуда есть махра — кручу ее. Она на грудь легче. А твои папиросы, мне, что отравы... Вот не спал я, дочка, — о тебе думая. Ты что на войну сама пошла, аль нибилизована? И не пойму, кто ты? Милосердная — не милосердная. Дохтур — не дохтур. Одежда на тебе командирская, а не командуешь. Политику тоже не ведешь. Так пошто ты здесь крутишься? Бабье ли это дело война?

— Ишь ты, — говорит бородач, выслушав меня. — Пишешь! Значит, ты по ученой части. Вроде, как наш писарь, что в прошлую войну был, Царство ему Небесное, снарядом

его убило. Только в наше время не слышали мы, чтобы девки в писарях были... — Как, говоришь? К-о-р-р-е-с-п-о-н-д-е-н-т... Ну, слышал и про таких. К нам раз наезжал такой сочинитель. Я сам из далека, аж из-за Вятки... Ну, вот приехал этот, как ты говоришь... К-ор-студент... И с вида маляхольный. Я не ходил его слушать, а мир сказывал, что хоть тощий, а глотка здоровая.

Приподнявшись, бородач огляделся вокруг.

— Там, за деревом, лежит кто?

— Лежит.

— Милый твой? Што ж вдалеке?

— Нет не милый, а просто знакомый, хороший человек. Он спит по близости, чтобы... чтоб... мне не было... страшно...

— Это точно? Правильно! Стеречь тебя надо. Ты у нас одна. И я того здесь сплю. Так мы вдвоих постережем. Ну, раз он тебе человек знакомый и хороший, то и говорить при нем можно. Ты мне, дочка, скажи, что будет по войне?

— Как что? Мир будет.

— Да я не про это. А власть какая у нас будет? Нам эта никак не подходит. Под немцем тоже не житье. Я в четырнадцатом присягал бить его, значит и теперь бить надо. А оставить эту власть никак нельзя. Сменим мы ее по войне, а? Што ж, я за колхозы воюю, что ль?... Да ты меня, не бойся. На пощупай, — вот это, — крест нательный, а это — ладонка. Тут вот иконка зашита — Егорий Победоносец. Мы православные. А ты веришь в Бога?

— Верю.

— Он тебя и спасет от всего! А власть нашу любишь?

— Нет.

— Видишь. Бог тебя разумом не обидел. Так, что ж, дочка, доколь мы еще терпеть будем? Ты откедова сама? Слышал. Город побольше Вятки будет. Может у вас там жизнь лутшая, а у нас одно страдание... И на себя и на других глядеть — сердце рвется. Гибнет народ. Ты лагеря видала?

— Какие?

— Тюремные. Их, касатка, от нас неподалеку много. Народу туда понабили — страсть. И все на мертвяков похожи, только что ходят. Глянешь на них, аж душа мрет. Кровь-то нашу коммуна сосет-то как. То-ли раньше житье было!

— Было лучше?

— Спрашиваешь. Голосили мы, как царя забили... К нам раз приехал коммунист, — давно это было. Собрал он нас всех, «Вот, говорит, товарищи-крестьяне, царя мы сбросили, леригия — это опиум для народа. Будете теперь жить по новому»... Тут подошел к нему дед Севастьяныч, здоровый был, что дуб, хоть и в летах. «Это царя, говорит, вы, антилигенты, скинули, нас не спросивши. А вот я тебя, такогосякого, сам скину», взял его за ноги, снял с помоста, да как шваркнет о землю, с того душа и выскакнула.

— Что-ж ему было?

— Как што? Помер сразу. Может, печенка лопнула, а может от страха. А, ты про деда Севастьяныча спрашиваешь? Тому ничего не было, — мир покрыл. Приезжего мы закопали и крест поставили: хоть коммунист, а все же крещеный, не гоже без креста. Только староста, что у нас в председателях ходил, упередил, что б их больше не трогали. Власти искать его приезжали. Был, говорим, да уехал, а куда неведомо. Тем и кончилось. А годов через пять нас как крутнули — всех в артели, да в колхозы загонять стали. Хлебнули мы горя! А при царе, дочка, жили мы, как в стужу на печке!...

За лесом взвилась ракета. Ненасытно воя пронесся над нами снаряд.

— Починают. Ты, касатка, за мной держись. Я тебе всегда укрою. И не суйся под бонбы — оне дуры, не разбирают. А власть мы сменим — запомни это крепко...

В минувшем бою убит наш комиссар. По слухам, до войны он занимал крупный пост в НКВД. Осколки разорвавшегося неподалеку снаряда попали ему в живот и ноги. Врач говорит, что если бы его отправить на самолете в центр, при быстрой операции он выжил бы. Но самолетов нет. Их теперь начинают строить за Уралом выпущенные из концлагерей «враги народа», во главе с А. Н. Туполевым. И комиссар энкаведист, кончил жизнь, как кончают ее здесь все, царапая и забребая в пригорюшню сухую землю.

После его смерти политико-моральное состояние политотдельцев начало заметно снижаться. Учтывая, что «береженого и Бог бережет», Политотдел решил перекочевать подалее от передовой линии.

— Мы предлагаем вам ехать с нами, — сказал мне Б. — замнач. Политотдела.

На мгновение я заколебалась: — отдохнуть и хоть немного поспать было так заманчиво... Но вспомнив друзей и оглядев окружающие меня лица, с которых фронт согнал самодовольство и сделал их заячьими, — решила остаться.

Когда я выходила из Политотдела, уже отъезжал нагруженный его имуществом замаскированный зеленью веток грузовик, а под деревьями стояли наготове легковые машины.

— Пусть драпают, — подумала я, — это к лучшему.

Неподалеку от штаба, на опушке леса, расположилось прибывшее к нам пополнение. Казалось, Старая Русь прислала нам из своих недр сказочных богатырей. Высокие, как на подбор, в большинстве длиннородые и кряжистые, как дубы.

— Хороши у вас бойцы, — сказала я принявшему их капитану. — Таких и немцы испугаются.

— Я сам их боюсь, — полушутя-полусерьезно ответил тот. — Они с севера. Самобытная публика. Драться с немцами, говорят, будем, а политикой командир нас не пугай, а то мы тебя пугнем. Что с ними сделаешь...

— Идете на передовую?

— Да, командир приказал смечить других.

«Понятно, — мелькнуло у меня в мозгу. — Хотят пустить их в пушечную обработку, если двадцатилетняя политическая не дала результатов».

Возле них был и мой приятель — Яковлев. Степенно поглаживая бороду, он стоял в кругу обступивших его земляков. Заметив меня, бородачи, изумленно пооткрывали рты. Оглянувшись, Яковлев кивнул мне и стал прощаться.

— Товарищ боец! Почему вы отлучились от своей части? — перехватил его политрук Долин, тот который грозил Трибуналом бойцу.

На лбу Яковлева, вспухая, начала наливаться вена. От движений скул заплясала борода.

— Он со мной, — быстро подойдя, вмешалась я.

— А с вами, — снизил тон политрук. — Что же вы молчали, товарищ боец. Когда с вами говорят, вы должны отвечать. Здесь фронт, а не колхоз...

— Счастье его, дочка, что ты проеж нас была, — тяжело дыша заговорил Яковлев, когда мы отошли, — а то бы от него и блина не осталось...

— Что вы! Тут же Политотдел, штаб, — вас бы расстреляли на месте.

— Душа кипит, касатка! Мочи нету! Земляки рассказывают дома-то голод какой начался. А подвозу нету, только для властей. Тут из лагерей народ стали выпускать, на войне людей нехватка. Бредут они, сердечные, а у баб куска хлеба нет им подать. Вот она где мука народная! Хочу просить тебя, — меняет он тон, — отписать мне дохой. Я хоч грамотный да долго пишу, а у тебя перо, что птица летает...

Через час мы сидим втроем под деревом, разгрызаем заплесневевшие сухари и запиваем их добытым в Политотделе коньяком.

До этого, добрейший Николай Александрович грыз меня за то, что я не уехала с Политотделом и за мой «длинный язык».

— Штой-то ты на нее напал? — Вступает за меня Яковлев. — Ее и тут Бог спасет. А какая же баба без языка? Видать ты ученый, а не знаешь, — что язык у бабы, что хвост у собаки. Видел ты собаку без хвоста? Рубят говоришь, хвосты? Видал я раз: у нашего штабс-капитана в ту войну, был кобелек подрубленный, а все одно остатком крутил. Ты не слушай его, дочка. Гляди какой он желтый, да квелый — это глиста его точит, с того он и злой. Ты лучше, касатка, отпиши мне письмо!..

«...Жене моей, Евдокии Свиридовой и сынам Павлу Семенову и Петру Семенову, а также дочкам Анне и Онисии, шлю я свой низкий поклон и родительское благословение. Еще низко кланяюсь (затем на поллиста перечисление родственников) и сообщаю вам, что я пока жив и здоров, чего и вам всем желаю. От Федора Михайлова узнал все ваши дела и скорблю за все душой. Крышу сарая перекройте до дождей дранками и на избе тоже поправьте, коль останутся. Почему не передали, есть ли у Машки приплод, аль осталась яловой. Нашел я себе тут дочку, которая это письмо пишет, и если, по Божьей воле меня хватит какой снаряд, аль пуля, то она вам про то отпишет...»

— Ишь ты! Вот уж чистые бусурмане! — прядась в траншею от налетевших Генкелей, ворчал Яковлев. — Не дали даже письма отписать...

* * *

Письмо так и осталось недописанным, из-за начавшегося контрнаступления противника. В конце дня меня вызвали в штаб армии. Там царил подавленность.

Война показала новую немецкую тактику молниеносных, клиновых ударов и смешала флажки на штабных картах. Войска противника оказались в глубине расположений наших войск. Германские моторизованные части катили вперед по шоссе на дорогах, оставляя нам для отступления заминированные поля. Неизвестно какие решения и планы принимаются сейчас в Главном Штабе, но несостоятельность прежних ложится всей тяжестью на армию. Так же спутались и все разработанные до войны эвакуационные планы: эвакуация городов происходит панически, или не производится совсем. Спасаются только власти с семьями и имуществом, оставляя народ на милость победителя.

Эшелоны с эвакуированными из Ленинграда, Орла, Пскова и т. д. детьми, направленные по маршрутам старых планов, застряли в тупиках станций, где происходят наиболее ожесточенные бои. Часть их уничтожена снарядами и бомбами, часть попала к врагу.

В штабе циркулируют упорные слухи о массовой сдаче наших частей в плен. Их подтверждает секретный приказ штаба фронта, разосланный по всем штабам. Под этим приказом должны расписаться все командиры частей.

«В случае сдачи в плен высшего и старшего начсостава РККА, они считаются изменниками Родины и их семьи подлежат репрессиям, вплоть до расстрела».

В комнате, прилегающей к кабинету начальника штаба, несколько командиров, стоя у окна, в ожидании приема, обсуждали этот приказ.

— Выходит так, — говорил молодой, но статный полковник, — или бросай часть или попадешь в изменники и твоя семья погибнет. Допустим мы находимся в окружении и чтобы пробить кольцо не хватает сил и боеприпасов. Командиры и бойцы не хотят стреляться, предпочитая плен. Ну я стреляюсь сам, но кто сообщит об этом в штаб армии, или фронта. Связь ведь порвана. Значит меня тоже сочтут пленным и репрессируют жену.

— Я не думаю, что этот приказ будут так строго выполнять, — возразил командир танковой бригады, — это больше для страха.

— Не скажите, ведь семья генерала Павлова уже поплатилась.

— Вой! Не сдавайся! — вмешался начальник артиллерии. — А я вот получил орудия для установки их на Вороной горе, когда противник находился в двадцати километрах. И прислали только 60 процентов необходимого количества, причем часть полевых пушек ближнего боя.

— А в наш корпус прислали американские винтовки, но без патронов, а наши не подходят. В полку три роты вооружены лишь саперными лопатами. Комиссар мне говорит: «Пусть берут винтовки у убитых и стреляют из них». Вам смешно, а каково мне? Представляете какое настроение не только у бойцов, но и у комсостава?

— Это уже не сухомлиновщина и не мясоедовщина, а похуже, — вздохнув сказал полковник.

— Да. И теперь вся ответственность ложится не на центр, а на фронтовые штабы и на комсостав... — добавил начарт.

За дверью кабинета раздался сухой треск. Все бросились туда. Начальник штаба полковник М. сидел согнувшись. Из раздробленной головы стекали на пол струйки крови. На столе недопитый стакан с водой. Поверх карты лежал придавленный снятыми орденами исписанный лист бумаги.

Вошедший комиссар оглядев мельком мертвого, взял со стола лист и пробежав его глазами, сунул в карман вместе с орденами. Подойдя к открытой двери, возле которой столпились штабные работники, бросил сквозь зубы адъютанту:

— Прикажите подать носилки. Произошел несчастный случай: полковник М. неосторожно перезаряжая револьвер, тяжело ранил себя.

Начарт указал полковнику на стакан с водой:

— Стрелялся с водой, чтобы вернее было, — сказал он тихо.

У дверей расступились, пропуская генерал-лейтенанта. Осторожно приподняв голову начштаба, он несколько секунд смотрел на его изуродованное лицо. Потом взял свисавшую руку, нагнулся, поцеловал ее и не глядя ни на кого вышел из кабинета.

Весь обратный путь передо мною стояли два лица: мертвое — начштаба и живое, но страшное в своем спокойствии, лицо генерал-лейтенанта...

По пути, заехав в наш штаб, я встретила там командира своей части. Рассказав о происшедшем, я доложила, что скоро уеду на другой участок. При известии о смерти полковника М. между бровей командира легла глубокая складка:

— Я знал его еще по академии, — сказал он поднимая от планшета усталое лицо, — умница был, честный и храбрый... Отличный начальник и товарищ...

Помолчав немного, он добавил:

— И мы тут без вас пережили тяжелые деньки. Погибло много. Из командиров убиты: Гришин, Дроздов, Лебедев, Никитенко, Смолков и политрук Долин, хотя его смерть загадочна, так как его время боя он был в штабе — возможно шальная пуля. А вот ваш приятель Яковлев как отличился, — оживляясь заговорил он. — Настоящий герой. Немцы пытались выбить нас, врезавшись клином в правый фланг. Жаркое было дело. Перевес был у немцев. Дошло до рукопашной. Тут убили Гришина. Это подействовало на бойцов — они стали сдавать. Вдруг откуда-то выскочил Яковлев. — «ура...» — кричит... — «А ну-ка братцы поднажмем за Рассею»... И, представьте, поднял за собою всех. «Поднажали» так, что немцы не выдержали и стали отступать. Тут подоспели танкхсты, ликвидировали прорыв. Я представил Яковлева к высшей награде. Высшую ему, быть может, и не дадут, на нее у политотдела есть свои кандидаты, но боевой орден получает. Можете порадовать его. Хотя... ему вряд ли суждено носить его...

— Ранен? Очень плох? Где он?

— Тут неподалеку, в сарае, нечто вроде лазарета. Он там. Его доставили на шинелях сами бойцы. Если дотянет, пока вернется машина, отправим его в тыловой лазарет...

— Пришла. А я уже боялся, что помру без тебя... — сжимая мою руку горячими руками, сказал Яковлев. — Воздух тут очень чижельй, — пожаловался он. — Похлопочи, доченька, чтобы вынесли меня отсель... Хочу помереть на вольном.

В полутьме сарая я не могла разглядеть его. Носилки вынесли и поставили в тень дерева. При ярком свете, по разлившейся по лицу синеве я поняла, что он не жалец на этом свете. Только окладистая русая борода и слившиеся с ней усы

не потускнели и золотились, как раньше на солнце. Пряча боль, глаза его смотрели на меня ласково, но порой в них пробивалась тоска.

— Орден гозоришь дэдут... — безрадостно протянул он. — Прежде Егория дали бы... А ты допиши письмо, дочка... Нет, не теперь, а когда помру... Вот тут под шляпью деньги... Пошли их... Ладонку себе возьми, она от пуль спасает... В ней и молитва такая зашита... И еще прошу, — закопайте меня... Не гоже православному на земле и без креста лежать... Найти земляков, они помогут тебе... Ох горит нутро, испить бы мне...

Земляков его я не нашла. Но Яковлева похоронили, завернув в шинель. Сделали и крест из молодых, скрепленных ремнями березок.

Г Е С Т А П О И Г П У

Сорокаградусный мороз. Ветер, сметая с промерзшей земли снег, злобно бросает его в лица и порошит глаза.

Снег оседает на промерзших ресницах. Веки смыкаются. Мучительно клонит ко сну.

Я засыпаю на ходу и лишь изредка в сознание смутно проникают осиплые голоса наших конвоиров:

Aufstehen! Sofort! Los!!!

Почему кто-то упорно трясет меня? Когда я села? Передо мной мотается красное, укутанное башлыком лицо конвоира.

Товарищи поднимают меня. Опираясь на их руки, снова погружаюсь в небытие...

Открываю глаза. От тепла нестерпимо ноют застывшие ноги. Старуха стягивает с меня сапоги. Набрал из миски снега, трет мои побелевшие руки и ноги. Прикосновение сморщенных рук вызывает в памяти другие родные руки, другое, родное лицо...

Немцы кончили есть, отогрелись. Снова треклятое:

Aufstehen! Los!

На дворе, кажется, потеплело. Или мы отогрелись горячими картофельными очистками, милостиво данными нам нашими конвоирами. Старуха тайком налила в миску горячего козьего молока и накрошила хлеба. Это еще не сытость, но огромный вклад в наши изголодавшиеся желудки. Сил стало больше. Много больше. Возможно их теперь хватит на наш неизвестный путь.

Повернув, идем за ветром. Он подталкивает нас, потом, обогнав, разметает дорогу. Занесенное снегом шоссе, сливаясь с полями, кажется белой пустыней. Но по обочинам дороги темнеют пятна — трупы замерзших людей. Это те, кто пытался выйти из голодающей прифронтовой полосы. Их руки заоченели, не выпустили веревок от ручных санок. На санках немудрецы, взятый для обмена на картошку, скарб, либо... замерзшие дети.

На середине шоссе лежат две женщины в дорогах меховых пальто. Видно пытаюсь помочь подняться спутнице, другая обессилев упала на нее. Пропустив немного вперед, конвоиры останавливают нас и возвращаются. Они обыскивают

трупы женщин, снимают кольца, часы. Рюкзак в узлах, распахивая ценное по карманам. Затем стаскивают с них шубы. Слышно, как трещат перемерзшие тела. Догнав нас, немцы осматривают нашу группу. Потом накидывают одну шубу на плечи мне, другую на шедшую впереди медицинскую сестру. Как бы сговорившись, мы сбрасываем их на дорогу, и одновременно получаем пинки от немцев: мы должны нести эти меха для них. Они боятся проезжих офицеров.

Идем дальше. Снеговая пустыня кажется бесконечной. Коченеют ноги, руки. Холод проникает в сердце. От этих страшных дорожных вех и от шуб, снятых с мертвых.

Комендатура расположилась в здании бывшего городского совета небольшого городка.

Нашу группу разбивают. Мужчин куда-то уводят, а мы остаемся ждать в комендатуре.

По коридору снуют солдаты. На груди у многих бляхи с надписью „*Feldgendarm*“.

Неподалеку кучки людей, выгнанных немцами или голодом с фронтовой линии. Это немногие, преодолевшие страшный путь.

В большинстве пожилые люди. На руках у нескольких женщин укутанные в тряпье дети.

Дверь распахивается, пропуская немецкого коменданта-майора. За ним следует штатский переводчик. Беженцы окружают их.

— Пожалуйста переведите коменданту: мы прошли двадцать километров по морозу. У нас нет сил двигаться дальше. Мы просим разрешения переночевать здесь в городе.

— Я профессор Н. Со мной семья. Нам было приказано немцами эвакуироваться в течение часа под угрозой расстрела.

Переводчик слушает с холодным безразличием. Он отстраняет рукой людей, стараясь выйти из кольца.

— Чего хотят эти люди? — спрашивает комендант.

— Пропуска, — бросает сквозь зубы тот.

— Пусть они придут ко мне завтра утром. А сегодня пусть идут работать, чистить от снега аэродром.

— Разве у нас есть силы для работы! Взгляните на нас, — молят люди. — Мы не дойдем до аэродрома. Мы не ели два дня...

— У меня ваша листовка. Здесь написано: «Идите к нам! Мы вас накормим, дадим работу»... В обмороженных, опухших руках женщины белеет прокламация.

— Мы и даем вам работу! Ступайте прочь отсюда чистить аэродром! — грубо отталкивает ее переводчик.

— Он не хочет даже перевести, что они говорят, — шепчет мне на ухо товарка. — Ну и сволочь этот тип. Несчастные люди! Переведите хоть вы коменданту. Что он вам сделает.

— Господин майор! — говорю я коменданту, остановившемуся против нас. — Этих людей эвакуировали по приказу немецкого командования. Они прошли в мороз двадцать километров, устали, голодны, промерзли. В таком состоянии они не могут работать. Кроме того многие имеют ваши листовки, где написано, что вы зовете их к себе, обещаете накормить, дать приют и работу.

— Молчать!!! Не забывай, что ты военнопленная!!! — подскочил ко мне переводчик.

— Я знаю, что я военнопленная, — отвечаю ему по-немецки. — И я обращаюсь к господину майору, а не к вам.

— Где вы изучили немецкий язык? — спрашивает меня комендант. Я отвечаю.

— Вы ранены?

— Да. Ранена и контужена.

— Почему вы не сдались в плен добровольно?

— Господин майор, что бы вы ответили, будучи на моем месте, на такой вопрос?

Комендант молча смотрит на меня и как будто что-то обдумывает. Переводчик напряженно следит за лицом начальства.

Через несколько секунд, майор спрашивает у меня:

— Чего же хотят в конце концов от меня эти люди? Куда они хотят идти?

— Они просят дать им ночлег здесь, в городе...

Зверинный крик прерывает меня. Женщина дико смотрит на замерзшего сына, которого развернула чтобы перепеленать.

Тело ребенка с глухим стуком падает на пол. Теряя рассудок, мать раскачивается без слез. Подняв трупик, она прижимает его к себе и баюкает.

Майор не выдерживает, отворачивается.

— Отведите этих людей на кухню, — говорит он переводчику. — Пусть их там покормят. Потом отправьте их в лагерь для беженцев. Накормить и их, — приказывает он нашему конвою. — Здоровых поместить в комнате каверху, рядом с фельджандармерией, раненых и больных, когда поедят, приведите сюда. Они будут отправлены в лазарет.

* * *

— Вы курите?

Вздрагиваю и открываю глаза. Все тот же коридор комедатуры, где мы ждем отправки в лазарет.

Передо мной переводчик. В белой выхоленной руке раскрытый портсигар, наполненный сигаретами.

Курить хочется страшно.

— Благодарю. Я не курю, — отвечаю я и проглатываю липкую слюну.

Портсигар передвигается к соседкам. Все отказываются. Переводчик закуривает сигару и прячет портсигар. Окутывая нас папиросным дымом, он пытается узнать, кто мы? Кто наши родители? Где мы жили?

Я всматриваюсь в его красивое, странно знакомое лицо, и напрягаю память. Но для нее, усталой, слишком большая работа перебрать всех, с кем приходилось сталкиваться за всю мою богатую встречами жизнь. Но все-таки мне памятливы эти вкрадчивые манеры и интонации голоса.

— Мы, кажется, с вами встречались?

Его глаза меняются, заволакиваются ледяной пленкой. Этот настороженный взгляд мне тоже знаком. Но где? Когда?

— Возможно да, возможно нет, — отвечает он сдержанно. — До войны я работал научным сотрудником в псковских музеях. Вы бывали там?

Вспоминаю свои поездки в Псков. Людей, с которыми там встречалась. Нет. Я почему-то твердо уверена, что это было не в Пскове.

Появление начальника жандармерии прерывает наш разговор.

Переводчик вытягивается по-военному и вполголоса рапортует ему о партизанах и о каком-то старосте, занимающемся поимкой таковых.

— Передайте ему, что он получит по 200 марок за каждого партизана, — говорит офицер и достает из кармана какие-то списки.

Переводчик указывает на нас глазами, потом что-то шепчет на ухо начальнику. Они выходят в соседнюю комнату.

В это время появляется новый конвой для отправки нас в лазарет.

* * *

— Посмотрите! Посмотрите, что эти сволочи делают! — крикнула нам стоявшая у окна товарка.

Вскочив с постелей, мы кинулись к окну. Наша палата выходит окнами на небольшую городскую площадь. На противоположном углу группа немцев и переводчиков комендатуры. Между ними два связанных по рукам юноши. Один из немцев на балконе двухэтажного домика деловито пропускает между перил веревку с петлей.

Маленькая старушка с криком подбегает к этой группе. Платок ее сбился на затылок, и седые волосы разлетаются по ветру. Она бросается на шею одного из приговоренных. Солдаты отрывают ее и оттаскивают в сторону. Старуха падает на колени перед переводчиком и, охватив его ноги, ползает за ним. Тот отрывает ее руки и с силой толкает ее сапогом в грудь. Раскинув руки, старуха падает на каменные плиты тротуара...

* * *

Прошло около двух лет. В одном из небольших женских лагерей «костарбайтеров» праздновались сразу несколько именин. Приехал жених одной из именинниц, унтер-офицер РОА, и вместе с ним офицер в форме немецкого капитана. Я узнала его, как только он вошел, это был бывший переводчик комендатуры. Под предлогом неотложной работы я удрала с именин, прежде чем нас успели познакомиться.

Вскоре через унтер-офицера, жениха знакомой, узнаю, что этот заезжий капитан «посетил» лагери военнопленных, в том числе и офицерский, где долго беседовал «по душам» с пленными. Через несколько дней туда явилось Гестапо и перестреловало многих. В большинстве тех, кто перед тем подал заявления о желании вступить во Власовскую армию. Аналогичные случаи произошли после «визита» этого капитана и в других лагерях военнопленных.

* * *

Кончилась война. В начале 1946 года я работала в одном из учреждений союзников. В это время в город прибыла

советская военная миссия. Она возглавлялась статным полковником, украшенным многими орденами. Мне стоило раз увидеть этого полковника, чтобы потом избегать попасться ему на глаза. Это был переводчик — позже немецкий капитан. И тут внезапно провал в моей памяти заполнился. Теперь-то я вспомнила, кем он был до всех перевоплощений. Если бы я не боялась быть похищенной советами, то подошла бы к нему и сказала: «капитан государственной безопасности, помните, когда я была военнопленной, а вы переводчиком у немцев, я не могла вспомнить, где встречалась с вами. Теперь я вспомнила, вы были начальником НКВД в К., а я приходила к вам за «кособым разрешением» на право пользования архивом городской библиотеки. И вы долго опрашивали меня, прежде, чем выдать таковое».

* * *

Отступая под натиском немцев, Советы оставляли в тылу у врага своих тайных и явных агентов из доверенных сотрудников НКВД. Они устраивались переводчиками при немецких комендатурах, штабах и занимались шпионажем. Чтобы получить доверие оккупантов, они помогали немцам уничтожать русский народ. В жестокости обращения с населением они превосходили немецкую жандармерию и Гестапо. Этим выполнялось их второе задание: — обострять отношения между немцами и населением и уничтожать, под видом коммунистов и партизан, тех, кто имел наивность искать здесь спасения от большевизма.

В Харькове один из сотрудников НКВД долгое время был личным переводчиком начальника Гестапо. Он прославился своей жестокостью. Прислуживаясь к начальству, он силой доставлял красивых девушек для кутежей офицерам. Эти же девушки потом расстреливались вернувшимися Советами «за связь с немцами».

В Старой Руссе комендантом лагеря военнопленных, где в сутки умирали сотни бойцов, был тоже сотрудник НКВД, пользовавшийся за свою жестокость с пленными полным доверием немецкого коменданта.

Советская власть была прекрасно осведомлена о всех действиях своих резидентов. Что для нее значили тысячи умерших от голода и издевательств, заеденных вшами, пленных и тысячи погибших от холода, голода, расстрелянных и повешенных невинных людей. Все это пустяки, надо было

бороться за спасение советской верхушки. И власть, оценив по заслугам «преданность и проявленную энергию» таких работников, наградила их потом орденами и поручила им иные «ответственные» задания.

Советский народ об этом не знает. Свидетели-жертвы молчат. Одни зарыты в неведомых, ничем не отмеченных могилах, другие изолированы в концлагерях. А редкие, оставшиеся чудом в живых и на воле, тоже будут молчать, ибо молчание дороже золота, — это жизнь.

Кому из советских граждан придет в голову безрассудная мысль осуждать вслух средства и методы, которые применяет правительство для спасения советской власти и для достижения своей высокой цели, торжества мирового коммунизма.

В ПЛЕНУ

Она проснулась в приоткрытую часовым дверь. На распухшем от голода лице мягко светились синие щелочки глаз. В посиневшей руке болталось ведро с горячей водой.

Пристально, с любопытством, оглядела меня, поставила ведро на пол и сказала низким голосом, нараспев:

— Прислали меня, чтобы воды принесла тебе помыться и прибраться тут... — И когда щелкнул замок и мы остались одни, добавила тихо. — Стерегут тебя... Ох, как стерегут... Расстреляют наверно... А помещение хорошее дали. Другие по десять человек в комнате сидят, а ты одна. Что ты шибко партийная была? — В глазах ее нет осуждения, одна искренняя жалость.

— Как? Не партийная? Так за что же они держат тебя? Может наговорил кто? Народ ведь, что собаки бешеные стал... От беса это все... Марией меня зовут. Сама я Царскосельская. У писателя Беляева в прислугах служила. Умер он. Царствие ему Небесное. Чехотка его съела. Знала его. Хороший человек был. И жена тоже добрая... Ну, вот, мойся. Я спинку тебе потру. А опосля той водой и пол смою.

Мария больше не спрашивает меня, а торопится передать мне новости с воли — они безотрадные...

— В Павловске при мне еще немцы учительку повесили — детей ела. А голод начался какой. С огородов все начисто повыкапывали. И картошку, и морковку, свеклу тоже. Теперь ботву собирают и варят. Тиф пошел. Здесь тоже. В больницах на полу лежат... А мрут, как мухи и от болезней и с голоду... Хлебушки четвертый месяц не видели. Тут есть хлеб на рынке, но разве купишь его. меховые пальта, да часы золотые за буханку отдают. А рассказывают в Ленинграде и того хуже — там голод раньше начался, как Бадаевские склады разбомбили. Подвоза нет, а камень не угрызешь... И мой батя, третьего дня, тута с голоду помер, да и мать доходит — не поднимается. Нас шестеро сюда эвакуировали, а муж на фронте неведомо — жив ли... Хотели дома помереть, да не дали немцы. Еще есть младший брат, сестренка, да дочка моя. Работаю я здесь. Дают за это суп солдатский и хлеба кусочек. Да разве самой полезет в глотку... Солью суп в баночку и домой несу. Дочке третий годок. Хорошая,

красивенькая была, а теперь пухнуть стала. Видать Бог приберет и ее...

В ее голосе покорность неизбежному. От этого эпического тона леденеет сердце. Встает перед глазами лагерь военнопленных. Там все походили друг на друга и те, что уже застыли в вечном покое и те, что еще двигались: — ходили или ползали...

Щелкает замок. Немец-часовой, открыв дверь, ожидает пока Мария подберет лужу у порога. Она собирает воду, выкручивает тряпку, бросает ее в ведро. Крестит меня мокрой рукой, потом скрывается за дверью.

* * *

Единственное окно моей камеры на уровне земли. Оно выходит в огромный, как площадь двор. С двух сторон он обнесен высокой каменной стеной, а в глубине каменные двухэтажные склады. В одном из них живут наши военнопленные, работающие при этой части или штабе. Я вижу их, когда они проходят по двору на кухню, пилят или колют дрова. Как и немецкие солдаты они норовят пройти поближе и заглянуть во внутрь моей клетки. Но меня тяготит это, хотя бы и дружеское любопытство. Я забиваюсь в тот угол, откуда меня меньше видно. Так же наверно чувствуют себя звери в зоологическом саду под праздными взглядами публики.

Снова щелкает замок и на пороге немец в чине майора с серебристым шнуром адъютанта. Глаза поблескивают улыбкой за стеклами пенсне. Оглядев мою клетку, он пощупал круглую облицованную гофрированным железом печь. Сказал пару слов о холодной погоде и вышел.

Минут через двадцать дверь широко распахнулась и в нее пролез паренек согнувшийся под вязкой дров. Он сбросил ее с размаха у печи. От его полушубка, валенок и дров пахло свежим морозным воздухом. Звездочки снежинок запылили пол. Быстро тая, они превращались в крохотные озера.

— Я — Федя, — отрекомендовался он ломающимся голосом. — Топлю здесь печи.

Растапливая печку, Федя, повидимому, больше интересовался мною, чем своим делом. Поэтому дрова упорно не разгорались. Надувая щеки, Федя упорно дул и все время оглядывался на дверь, за которой слышался непонятный ему разговор. Улучив минутку, когда, судя по шагам, часовой ото-

шел, он быстро выхватил из кармана полушубка пачку табаку — кинул ее мне. Курительную бумагу не успел перебросить и сунул под полено. Когда страж появился, все внимание Феди было сосредоточено на чехлом пламени, но, уходя, он ободряюще подмигнул.

Пачка табаку, которую сжимает моя рука в кармане брюк — сокровище и если бы кто-либо пытался отнять ее у меня я бы перегрызла тому глотку, не взирая на последствия. Пока добралась до спрятанной под дровами бумажки, рот наполнился обильной тягучей слюной. Осторожно, стараясь не просыпать и крошки табака, скручиваю папиросу.

Непередаваемое ощущение первой затяжки . . . Чтобы продлить его, медленно выпускаю дым . . .

Стены дома сотрясаются от грохота зениток. Совсем недалеко, застрочил и зенитный пулемет. По коридору и наверху — топот ног. Очевидно налет большой. А мне некуда прятаться. Я сижу на поленьях, у печки. В лицо пышет жаром от разгоревшихся дров. Приятно кружит голову папироса. Не хочется думать о бомбах. Мир кажется сейчас уютным, как будто нет войны и нет плена . . .

Папироса подпекает пальцы. Прячу окурочек и подхожу к решетке окна. По всему небу разбросаны белые дымки разрывов, а между ними, потерявшая боевое построение, стайка самолетов. Может, их ведет мой брат Сергей и сброшенная им же бомба сократит остаток моей жизни... Сейчас, когда я не вижу будущего и не грущу о потерянном прошлом, мне не жаль расстаться с ней. Вера в то, что мои уцелели чудом, у меня слаба. И еще меньше я верю в возможность встречи с ними когда-либо... С этим сердце не примирится никогда, но нужно приучать себя к этой мысли . . .

Бомбы падают где-то вдалеке. Постепенно умолкают зенитки. Неподалеку группа офицеров наблюдает в бинокли за удаляющимися точками самолетов.

* * *

Ночью был новый налет. Неподалеку упали подряд две бомбы. С верхних окон посыпались стекла. Тревога не объявлялась, только выключили свет.

Когда утихло, скрипя сапогами по снегу, забегали немцы. Громко разговаривали и чему-то долго смеялись.

Утром, узнала от часового, что одна бомба попала в по-

мойку, в конце двора, другая разорвалась рядом. Обе они были мелкого калибра.

Новый мой страж (старый уехал в отпуск) был разговорчивым. Через десять минут я уже знала, что жену его зовут Бертой, а детей — Гансом и Фридой. Сам он — из Штеттина, где у него дом и оранжерея. Солдат показал мне снимки. И семья и дом выглядели очень зажиточными.

За окном раздается залп. Взглянув туда вижу мужчину и женщину падающих на снег. Ноги женщины в белых валенках несколько секунд бьют пятками по снегу, затем вытягиваются...

— Расстреляли. Капут, — спокойно констатирует немец.

— За что их расстреляли?

— Это цыгане, — говорит он и подойдя к окну разглядывает убитых.

— Я вас спрашиваю, за что они расстреляны? — повторяю я.

— А я вам уже ответил — это цыгане. Всех жидов и цыган мы расстреливаем.

Вздрагиваю. По коже ползут мурашки. Не раз я читала об уничтожении всех евреев в Германии, но не верила, считая это обычным преувеличением нашей пропаганды. О расстреле цыган — узнала впервые.

Убитые лежали у окна еще минут двадцать. Я не могла принудить себя подойти к решетке, рассмотреть их. Пошел снежок, запорошил тела. Потом наши военнопленные под командой немецкого фельдфебеля куда-то оттащили их.

Федя, растапливая печь, сообщил все подробности. Цыган был интеллигентный человек — инженер. Его хорошо знали и любили в городе. Ничего не подозревая, он пришел сюда сам, получить направление на какую-то работу. Узнав о его национальности, немцы сразу же схватили его. Жена его, ждавшая на улице, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, вошла и расспрашивала о нем. И ее постигла та же участь.

— Часто здесь расстреливают? — спросила я юношу.

— У нас — редко, а на следующем квартале, куда Эс-Дэ переехало, там чаще. Немцы вешают больше. Нонче на площади пятеро висят. Аж проходить страшно. А как я дрова колот, видел по улице евреев гнали — с полсотни, а то и больше. Детишки тоже с ними. Юрка, он тоже тут работает, рассказывал, как остановились, чтоб конвой сменить, так ста-

ли жиды народ просить, чтоб хоть детей спасли. Плачут. Золото в руки суют. Ну, как немцы зазевались, — их всего трое на всех было, — часть ребятишек повытаскал народ, попрятал. Жалко, ведь, — в чем-то дети виновные... У нас в городе много таких детей осталось, каких уже и покрестили — все равно за своих будут. В деревнях тоже берут — еще больше, там кормить есть чем. И я так думаю, не к чему их, жидов, убивать, — раздумчиво сказал он, — ведь, тоже люди...

Федя вздохнул. Потом покосился на дверь и спросил меня шепотом: — Вы Климента Ефимовича жена?

— Чья? — не поняла я сразу.

— Ворошилова. У нас говорят, что немцы вас держат, чтоб на своих пленных офицеров обменять...

Федя никак не хочет поверить, что это неправда. Да ему досадно — не сможет всем рассказывать, что топил печку у «жены Ворошилова» и видел ее каждый день.

— Да разве я скажу кому-нибудь, — обиженно бурчит он. — Все это знают. Чего же немцы вас держат так? А не доверяете мне — и не надо...

Он зло ломает спички. Растопив печ, уходит без обычной улыбки, сердито посапывая.

Издерганные нервы треплет все... Даже эта нелепая выдумка. Но есть ли доля правды в слухах об обмене. Сомнительно... А впрочем, кто знает. Действительно, для чего меня держат здесь, а не в лагере. Для немцев я никакой ценности не представляю...

Но я не ощущаю от этой, хотя бы призрачной надежды на освобождение, радости. В душе так же холодно и пусто, как в вымороченной избе...

* * *

Сегодня снова пришла Мария. За это время она еще больше опухла. Лицо ее было уже не желтое, а сине-черное. Но из-под набрякших век лился тот же синий свет.

— Две недели тебя не видела, — встряхивая у печки платок, сказала она. — Слава Господу - живая ты. А моя доченька — ушла. Заболела животиком. Три дня помучилась и отошла... Ничего есть не могла... Я ей в тот день немецкого пирожка сладкого кусочек принесла, кухен он называется, так она зажала его в рученке, засмеялась мне, а съесть не смогла — так с ним и померла... Одеда ее в крестильное платьице. Так высохла голубонька, что в пору пришлось... И ящичек нашла, как по мерке. Стружки платком моим шелковым покрывла, а

Мария Петровна, наша соседка, подушечку бархатную дала. Все равно умру, говорит, чужим останется. А подушечку дочка ее вышивала... Как принцессу обрядили мы с ней Наденьку. Отвезла я ее на саночках к церкви, оставила на паперти. Только записочку с ее имечком ей рядом с иконкой под ручку засунула. Батюшка, святой человек, отпел ее и похоронил в субботу... В понедельник братишка помер, вчера схоронили его. Одна я теперь сиротинка осталась. Да и я скоро туда... Ноги распухли, вишь как. А иду по улице — в ушах звон, словно колокола...

— Слушай, Мария, — не выдерживаю и перебиваю я ее. — Ты еще молодая. Ты должна сохранить хоть себя. Той еды, что ты здесь получаешь, для одной хватит, чтобы дотянуть до весны...

— А зачем? — спрашивает она. — Весной голод еще пуще будет, пока огороды не вызреют. Для чего мне жить. Мои все ушли. Мужа тоже, чую, в живых нет. Все его во сне вижу. «Вот, — говорит, — Марусенька, встретились мы с тобой и больше не расстанемся». И лицом светлый такой. А где я с ним встречусь, как не у Бога. Его аж на Кавказ заслали с частью, а туда немцы не дойдут... Примерзли, видать, они теперь... Да и еще я не одна. Есть у меня Мария Петровна с внучкой Танечкой. Сердечная такая... Муж ее профессором в СХИ работал, выслали его еще до войны. Дочка в Ленинграде, замужем. Танечку бабушке на лето всегда привозили. Хотели они сами, как немец подходил приехать, их забрать к себе, иль самим остаться — видать, не успели. А Мария Петровна, что не поменяет — с нами всегда поделится. Сама она мало ест — все только для Танечки. Я ей о тебе рассказала, так она вот блузки две и бельишко тебе передала. Пусть, — говорит, — переоденется, а грязное принеси постирать. Платье еще дать хотела, да смекнули мы, что тебе гражданской одежды нельзя... Что? Променять это? За него и двух картошек не дадут. Поглядела бы ты, какие отрезки на костюмы, на пальта, за картошку, на рынке меняют. На все это и не глянет никто... Зря только прстоишь, проморозишься...

Я достаю остатки моего хлеба.

— Господь с тобой, — всплескивает она руками. — Ведь тут почти полбуханки. Не возьму. Ешь сама. Ишь тоже как отошала в лагере. Небось с голодухи ешь и не наешься.

— Теперь хватает. Мне на четыре дня буханку приносят. А эту лишнюю вчера принесли, видно ошиблись. Бери.

Вот тут еще и от той буханки сколько осталось, возьми половину и этого.

— Хлебец святой! — говорит Мария благоговейно проводя рукой по корке. — Послал бы тебя Господь раньше, может, не ушли бы хоть Наденька и Вася...

Наконец ее глаза наполняются влагой. Крупные слезы падают на хлеб.

— На все воля Божья, — шепчет она сквозь слезы. — Может это Марии Петровне за ее доброту... Что бы жива была Танечка...

— Тот хлеб Марии Петровне, — возражаю я ей. — А это — твой. Ты должна съесть этот кусок здесь, при мне.

— Нет лучше я дома, с супом, — просит Мария. — День у меня сегодня счастливый, повар первый раз лишка супу дал. Смотри сколько. На всех хватит. Встретим мы с Марией Петровной праздник — завтра ведь Крещение. Того и мороз такой ударил. А как твои дела? — вскидывает она на меня глаза. — Слыхала я, приезжали, тебя допрашивать. Ну и как. Не сказали за что держут. А тут теперь есть еще одна пленная — сестрой была — Верочкой зовут. Не знаешь ее. Рисовальщицей теперь работает, что ли. На улицу ее не пускают, а так по всему дому бегает, с офицерами зубы скалит. Но так ничего. Девушка добрая. Это она мне тот кухен дала. Может, и тебя, Даст Господь, освободят скоро. Молись Николаю Чудотворцу, святой Угодник поможет...

Крещенский вечер. Я одна в своей клетке. Ярко светит луна. Она висит на небе как серебряный елочный шар. И от нее морозные узоры на стекле играют радужными красками.

Я не знаю, который час, но в доме тихо. Только сверху доносятся приглушенные звуки рояля.

Мороз все усиливается. Сколько жизнью унесет с собой эта ночь.

В памяти невольно всплывает лагерь военнопленных в селе Рождественском. Самое страшное, что довелось видеть.

Недостроенное трехэтажное здание школы на краю большого села. Без оконных рам и дверей. Или они были, но их сорвали на дрова, не знаю. Немцы обнесли его рядами колючей проволоки и набили его до отказа военнопленными. В домике для учителей, жила охрана. Там день и ночь поднимался к студеному небу дым из горящих печей. Когда немцы открывали форточки, хотелось подойти и ощутить хоть руками капельку тепла.

По школьным помещениям вольно гулял ветер, заноса туда снег. Печи не топились. Мы кутались в потрепанные на фронте шинели, а они не согревали. Тогда морозы были гораздо слабей, примерно около двадцати градусов. Но, казалось, холод прошел не только до костей, но и до внутренностей. Каждый хотел уворовать тепло соседа. Люди тесно прижимались друг к другу. Ночами старались заползти поглубже в эту ворочающуюся, стонущую и вздыхающую кучу.

Когда умирал сосед, неловко было податься от ползущего от него холода и полчищ вшей, как-будто выползающих из каждой поры мертвого тела.

Равнодушно выволакивали умерших во двор и бросали у входа. С верхних этажей, выбрасывали трупы через окна, тащить по лестнице надо было много сил и они застывали на морозе в чудовищных позах. Освещенные луной мертвецы пугали немцев. Озлобленная стража врывается к нам и колодела всех подряд, кто попадался, крича, что трупы надо отнести в одно место, за сарай.

Люди молча принимали удары, порой умирали под ними, когда немцы уходили, к себе, умерших выбрасывали, как и раньше.

Однажды, на заре, нас разбудил дикий крик. Стража, которая почему то хотела войти в школу наткнулась на двух стоящих мертвецов. Один из немцев упал без чувств на ступени крыльца, другой убежал в караульное помещение.

Кто это сделал, узнать не удалось. Но за это немцы расстреляли десять человек.

И все же бежали из лагеря лишь немногие смельчак или жившие раньше неподалеку. Ведь кругом простиралась скованная морозами снежная пустыня, по которой играла пурга.

Окрестные жители, боясь расправы немцев, отказывались прятать беглецов, да это было почти невозможно, так как здесь стало на зиму много немецких частей и в каждом доме стояли солдаты. Добраться до своих частей, перейдя линию фронта, многим было просто не под силу. И одинокую смерть от мороза в поле, люди предпочитали смерти здесь — «на людях». Голод же свирепствовал везде.

И уставшие за время фронтовой жизни и ослабевшие в плену, мы все просто оступели. Я не помню была ли у меня, за это время, какая-либо сознательная мысль...

Так длилось, пока не сменилась часть, которой был поручен наш лагерь.

Новый начальник — немецкий капитан — разглядывал нас с нескрываемым ужасом. Он все время менялся в лице и губы его дергались. Вышел он, не сказав ни слова ни нам, ни сопровождавшим его.

Через час немцы отбирали наиболее сильных среди нас. К вечеру провалы окон были закрыты фанерой и досками, привезенными из ближнего лесопильного завода. Больных, раненых и доходяг поместили отдельно. Нас, женщин, тоже отделили и поместили в классе на втором этаже. Впервые были затоплены печи. И все мы, теснясь к теплу, бросали в печи набранные в пригоршни вши. Спали мы уже не на голлом полу, а на опилках, стружках, прикрытых соломой.

Всего женщин в лагере было около двадцати. И за все время умерла только одна — мы оказались втрое больше живее мужчин.

В церкви зазвонили колокола. Да... Ведь завтра Крещение. За это время я забыла о Боге и Он забыл обо мне... Может, грешно так думать, но я не чувствую его в душе, как раньше. Она пуста... Я даже не могу вспомнить слова молитв... Вот, если жива мать, то она горячо молится сегодня обо мне...

Но колокольный звон будит во мне что-то, чего я не могу еще осознать. Чтобы лучше слышать, взбираюсь на подоконник, открываю форточку и просовываю нос сквозь решетку.

Как тиха и величественно прекрасна ночь. Голубоватый в тени снег, отливает перламутром в лунном свете. Луна уже где-то над домом, а я вижу, как, еле уловимые глазом тонкие светящиеся нити идут от неба к земле, соединяя их... Я не чувствую холода и не могу оторваться от окна. Сердце мое начинает стучать, как будто оно соприкоснулось с великой и страшной тайной. Что-то вошло в душу — согрело ее... Я чувствую текущие по лицу слезы — первые слезы за несколько лет...

Оставляя за собою на мгновение серебряную полосу, скатилась звезда. И, прежде чем она успела померкнуть — не я, а кто-то во мне крикнул:

— Я снова обрела Тебя, Боже. И душа моя ожила...

О Г Л А В Л Е Н И Е

“Великая” и “Бескровная”	7
“Мирови Прибежище”	10
Исповедь Белобородова	14
Принц-коммунист	33
Наследство	41
Травля ученых	45
Счастливое детство	54
Советские “парламентарии”	61
“Права женщины”	68
Маскарад мертвецов	71
“Освобождение” финнов	78
Зигзаг “Генеральной линии”	83
В горниле фронта	88
Гестапо и ГПУ	103
В плену	110

ИЗДАТЕЛЬСТВО

НАША СТРАНА

- Иван Солоневич. ДИКТАТУРА ИМПЕРИИ. Часть 1. \$ 2.00
- Иван Солоневич. НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ.
Часть 1. Основн. положения. \$ 1.50
Часть 2. Дух народа . . . \$ 1.50
Часть 3. Киев и Москва . . \$ 1.50
Часть 4. Москва \$ 1.50
Часть 5. Петр Первый . . . \$ 1.50
- Иван Солоневич. ВЕЛИКАЯ ФАЛЬШИВКА ФЕВРАЛЯ. . . . \$ 1.50
- Иван Солоневич. ДИКТАТУРА СЛОЯ \$ 1.50
- Иван Солоневич. ХОЗЯЕВА. Русская сказка \$ 1.00
- Иван Солоневич. РОМАН ВО ДВОРЦЕ ТРУДА (3-е издание) \$ 1.50
- ЧТО ГОВОРИТ ИВАН СОЛОНЕВИЧ О ЦАРЕ И МОНАРХИИ, О БОЛЬШЕВИЗМЕ, О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ, О "ШТАБС-КАПИТАНСКОМ" (Народно-Монархическом) ДВИЖЕНИИ \$ 1.00
- Проф. М. В. Зызыкин. ТАИНЫ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I \$ 4.00
- Проф. М. В. Зызыкин. ИМП. НИКОЛАЙ I И ВОЕННЫЙ ЗАГОВОР 14-го ДЕКАБРЯ 1825 г. \$ 2.50
- Проф. Б. Н. Ширяев (А. Алымов). ДИ-ПИ В ИТАЛИИ \$ 3.00
- Борис Ширяев. "Я — ЧЕЛОВЕК РУССКИЙ" и др. рассказы . \$ 1.00
- Борис Ольшанский. МЫ ПРИХОДИМ С ВОСТОКА \$ 3.30
- М. М. Спасовский. СОБОРНАЯ МОНАРХИЯ \$ 0.50
- Николай Былов. А. С. ПУШКИН, КАК ОСНОВА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ \$ 0.50
- В. К. Федонюк. ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР \$ 0.50
- Николай Кремнев. "ЦАРСКИЕ ОПРИЧНИКИ" \$ 1.50
- Борис Башилов. УНТЕРМЕНШИ, МОРЛОКИ ИЛИ РУССКИЕ \$ 1.50
- МОНАРХИЯ, РЕСПУБЛИКА, ДИКТАТУРА — политический справочник русского монархиста — составил Борис Башилов . . . \$ 1.00
- Н. Потоцкий. БЕСЕДЫ О НАРОДНОЙ МОНАРХИИ и
- И. Владимиров. НАРОДНО-МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ . . \$ 1.00
- Н. Потоцкий. СПУТНИК ПРОПАГАНДИСТА НАРОД. МОНАРХИИ \$ 0.50
- Н. Потоцкий. КУРС НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ \$ 1.00
- Лидия Норд. ИНЖЕНЕРЫ ДУШ \$ 1.00
- Лидия Норд. ИЗ БЛОКНОТА СОВЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ \$ 1.50
- М. Бойков. ПАРТИЗАНЫ ХОЛОДНОЙ ВОИНЫ \$ 1.00
- М. Бойков. РУКА МАЙОРА ГРОМОВА. Роман. \$ 1.50
- Николай Жигулев. МОЗАИКА ЖИЗНИ. Рассказы. \$ 1.00
- Н. Кусаков. ВСЮДУ ЖИЗНЬ (Повесть) \$ 1.50
- Н. Кусаков. ДОСТОЕВСКИЙ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА \$ 0.50
- Очерки по Русской Истории — Н. Потоцкий. ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ \$ 1.00
- Г. Месняев. ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ. \$ 3.30
- Стоимость книг указана в американских долларах.

Всю корреспонденцию и заказы адресовать:

VSEVOLOD DUBROWSKY, Casilla de Correo 2847, Buenos Aires, Argentina.